

Николай Гуданец

Сцепленье предмета и взгляда

сборник стихотворений



Рига, 2016

Это четвёртая поэтическая книга Николая Гуданца.
В неё вошли стихотворения, написанные с 1980 по 2016
годы.

Гуданец Н. Сцепление предмета и взгляда, сборник стихов. —
Рига: Ридзене-1, 2016. — (Серия «Рижане») — 168 стр.

Компьютерная вёрстка и дизайн обложки — автор.

Отпечатано в типографии ООО «Салана-Арт»

ISBN 9984-553-35-3

© Н. Гуданец, 2016 г.

От автора

Приношу глубочайшую благодарность Юрию Касяничу за помощь в издании этого сборника.

УТРЕННИЕ СТРОФЫ КАЙНОЗОЙСКОЙ ЭРЫ

Мне в стотысячный раз надоели слова
и в стотысячный раз одолели, едва
я поднялся с постели.
За раскрытым окном чугунеет листва,
отсыпаящаяся за неделю.

Кто развесил наощупь листву за окном
и воздвиг этот дом, обреченный на слом,
и согнул мне, как обод, хребет над столом
для свидетельства мощи и славы,
тот продел меня в труд и покинул меня
на подходе сырого просторного дня,
на окраине сверхдержавы.

Я, владелец рассветных воскресных минут,
не могу осознать, очутившийся тут,
в человеческом яростном детстве,
что иные народы язык мой сотрут,
как шумерский и хеттский.

Спит квартира. Душа разбухает в груди.
Я не вынес бы этой натуги один,
ибо подвиг равняется вздоху.
То ли в гуще корней вызревает азот,
то ли полюс магнитный, как муха, ползёт,
по шажку за эпоху.

Так бывает, когда растворяется быт,
становясь отдаленнее, чем неолит,
и тяжел, словно дрейф тектонических плит,

поединок предчувствий и знаков.
В клинч войти, продержаться, громаду качнуть.
Непосильно, бессмысленно. Всё же чуть-чуть.
Так боролся Иаков.

Свет меня огибает по рваной дуге,
папироса погасла, присохла к губе,
холодильник заходится в тряске.
И никак лихорадку не смелют в слова
полушария стылые, как жернова.
В коммунальном окошке недвижна листва,
современница критских династий.

Кто продел меня дратвой в одышливый труд,
не давая поблажки, неистов и крут,
и за глотку берёт, как невидимый спрут,
без различия дня или ночи,
Тот меня, словно рупор, подносит к губам,
и невнятно орёт. И бросает. А там —
разбирайся, как хочешь.

За окошком листва. На дворе голоцен.
Кровь застыла в мозгу, как трамвай на кольце,
и сцепляются намертво звенья,
бездозвучную речь не по мерке надев,
прорастая сквозь плоть, возникая нигде,
разбегаясь по времени, как по воде,
чтобы рухнуть в забвенье.

ТРАКТАТЫ

1. ДЕБИЛ

Всё так запутано, переплелось корнями,
но если вглядываться зорче и верней,
то можно различить меж всеми нами
систему строгую невидимых ветвей.

Мы в подчинении у ртутного столба.
От самочувствия зависима судьба.
Вращению Земли подчинена река,
хотя заложена в нее иная сила.
Ничтожный перекося пружинки ДНК,
помноженный на плоть, дает итог дебила.

Косоугольный рот с обрывками слюны
коверкает и мнёт разрозненные слоги,
они выходят несуразно, как слоны,
до половины увязая по дороге.
И нахлобучен лоб на тусклые глаза,
а что в нем кроется, пересказать нельзя.

...Как много намело сверкания и хруста,
и на сугробы куст поставлен, точно люстра,
длина прогулки от очарования зависит,
а вместе с тем и жизни всей длина,
тождественная сумме наших мыслей,
на сумму наших бед разделена.

Дебил, закутанный в громоздкий жир и шубу,
стоит, обиженно выпячивая губы.

Средь множества вещей беспомощно висеть,
не в силах увязать два предиката разом, —
так грудой шестерён, сорвавшихся с осей,
вращается его окислившийся разум.

Изломы льдистые мерцают, словно уголь.
Сосульки терпкий вкус от водостока ржав.
Все так зависимо, похоже друг на друга —
кружение снега и крушение держав.
Все разъединено, хотя на самом деле
скрепляется числом, как гайкой и скобой,
а череда из оттепелей и метелей
уравновешена сама собой.

И всё смыкается в несокрушимый остов,
и мудрость книжная тут вовсе ни к чему,
когда простые неуклонные вопросы
растут из мира, протыкая ум.
На них ответа нет, начал не различить,
а жизнь подрагивает, ёжится и дышит
в просторной паутине следствий и причин.

Дебил по улице идет, грызя ледышку.

2. ДОЖДЬ

С неутоляемой всеядностью зеваки
я шел, петляя в городской изнанке,
и по дороге дождь меня застал.
В кирпичных пазухах, асфальтовых извивах,
не огибая луж и не раскрыв зонта,
я брел бесцельно и неторопливо,
а ливень с каждым шагом нарастал.

Текла брусчатка, и фасады оплывали.
Я в ливень был забит, как гнутый гвоздь,
и луковыми стрелками печали
сухое сердце проросло насквозь.
В развалинах воды, почти непроходимых,
меня по ломаной окружности ведя,
шел некто невесомый и незримый,
обтянут бычьим пузырем дождя.

Его присутствие внезапно стало явным.
Я различить сумел немного погода
одежду длиннополую, венок из лавра.

Всё остальное дождь скрывал, как плащ.
В теснинах каменных, под небосводом рваным
вдвоем кружили мы средь водных чаш.

Ворочалась грозы лоснящаяся туша,
в ушах стоял ее косматый хрип и плач,
и мне казалось, что сквозь собственную душу,
принявшую строенье улиц, площадей,

двоих людей, в сплошной воде бредущих,
иду и не могу найти себя нигде.

Повсюду пелена — промозглая, слепая;
пытаюсь сквозь нее хоть что-то разглядеть,
над разумом своим мучительно всплывая,

к попутчику я обратил вопрос немой,
поскольку не сумел облечь его словами.
Меня поняв, ответил спутник мой,

догадки скомканные подытожив:
«Не всё ль равно — по кругу или по прямой
стремить свой бег? Везде одно и то же,

поверхность ковырни — под нею пустота,
но стоит пустоту на пустоту помножить,
в итоге возникает простота

исходного нуля, как бы яйца, в котором
из гущи мрака создается звезда,
чтоб послужить начальной точкой для простора.

Ты потерял себя, и вот пришла пора
приникнуть к пустоте, в ней обрести опору.
Попробуй уцелеть, рассудком жизнь поправ,

укрывшись от неё всезнанием непрочным.
И если прав Эйнштейн, а он, как видно, прав,
ось равновесия меж будущим и прошлым

проходит через слово **н и к о г д а**».

Мы вышли между тем на рыночную площадь,
и спутник мой исчез без звука, без следа.

Был мокр и пуст ребристый рынок.
Над ним вращалась наподобие чайнок
густая стая птиц; ее архитектура
перемещалась, образуя каждый миг
трепещущие многогранные фигуры,
просвечивавшие сквозь облик кутерьмы.

И дождь, подобный кристаллической решетке,
все нематериальней становясь,
сдвигался в вышину, размеренно и четко
меж небом и землей прочерчивая связь.

Я пристально смотрел.
На первый взгляд,
всё окружавшее совсем не походило
на винтовой промерзлый ад.

Так я земную жизнь прошел до середины.

3. НЕСУЩИЙ ЗЕРКАЛО

В щербатых улицах и гнутых переулках,
в колодезных дворах и подворотнях гулких,
под вечным запахом дрожжей с хлебозавода,
короче, в мироздании городском,
где несурзная полезная природа
в аллеи пышные построена гуськом,
все распределено осмысленно и гладко.
Так велико давление порядка.

Но из картины этой выпадает
несущий зеркало по улице старик.
(Оно колышется, как световой плавник.)
Старик высокий, чинный и прямой.
(Края топорщатся лучистой бахромой.)
Он шествует отдельно от прохожих,
сосредоточен, отрешён и осторожен,
и зеркало наклонно держит у виска,
как будто бы боится расплескать
течение неторопливых отражений.
Движенье зеркала равняется движенью
всей улицы в системе, где старик
подвешен неподвижно, шевелит ногами,
дома и облака полощет в амальгаме
и ненароком запрокидывает их.

От хрящевидных глаз к продавленному рту,
от кадыка и до коричневых залысин
его лицо перетекает, словно ртуть,
от суммы собственных пропорций не завися.
Он превращается то в жабу, то в щегла,

а то и просто — в человеческом обличьи
вдоль парапета семенит по-птичьи
и в мир глядится, будто в зеркала.
Он ищет мальчика со стрижкою короткой,
он ищет юношу с пушистым подбородком,
молодожена, щеголя, солдата,
он ищет всех, кем был когда-то.
В пространстве вместо них — бесцветные зиянья.
В себе уже он не находит узнавания,
скользит отвесно по шкале пифагорейской
(по 20 лет, по 20 лет, по 20 лет...)
и утыкается в бесплотную поверхность,
где тела нет, и взгляда нет, и только след,
лишенный имени, субстанции, личины,
лишь самому себе является причиной.

И на плече у старика, в зеркальной штольне,
где свет раскидистый, зыбучий, как вода,
пространство прыгает мячом прямоугольным,
об амальгаму переламывая даль.
И скудный лик его бесстрастно стеаринов.

Несущий зеркало по улице старинной,
среди эркеров, кариатид, лепнины,
объятый временем и пляской световой,
ровесник здания с Палладой на фронте,
чуть старше фонарей, чуть младше мостовой,
он удаляется и в переулке тонет,

спиною к жизни, к неизвестности лицом.

4. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА КАКТУСОВ

В углу двора полуподвальное окно
шеренгой кактусов заграждено.
Иголками, шипами, волосками
хозяйский взгляд щекочит и ласкают
тугие дольчатые пузыри,
наросты, лопасти, змеиные изгибы
и сросшиеся сплюснутые глыбы.
И светится тихонько изнутри
зеленым светом шишковатая лужайка.
Глядит в окошко дряхлая хозяйка.

Окошко отсекает, словно лезвие,
часть туловища, и она
оптическим полуподвальным срезом
по грудь в асфальт погружена.

Эклиптика ее ума
причудлива, как жизнь сама,
заломлена, как щегольская шляпа,
но в недрах черепа заклинил некий клапан,
и потому глухой объём двора
в ее мозгу неисчерпаем, как дыра.

По целым дням она глядит в окно,
как режутся пенсионеры в домино.
На солнышке лежат четыре кошки,
хвосты у них изогнуты, как ложки,
Развешано белье, играют пацаны,
винтовками из палок вооружены.

Жизнь стиснута, как трилобит в мелу,
двумерным дном кирпичного колодца.
Полуподвальное окно в углу,
и, господи, как мало остаётся:
глядеть в окно поверх своих питомцев,
оплакивать кашпо, бранить метлу,
барахтаться в припадке на полу.

Она глядит в окно, и вровень с головой
топорщатся щетиной боевой
мясистые игольные подушки.
Их алые цветы — как банты на макушках.

О, если б знали вы, что зренье — это труд,
и старики, глядящие из окон,
себя тем самым убеждают, что живут,
что одиночество совсем не одиноко.

О, если б знали вы, какая благодать:
набрать воды в помятое ведерко,
и ждать, покуда выдохнется хлорка,
и после — бережно горшочки поливать.

5. ЗАЖЁГШИЙ СПИЧКУ

Ноябрь над городом распахнут, словно двери
в клубящийся котел дождей и синевы.
Когда неприбранные жесткие деревья
выпрастывают ветви из листвы,
лохмотья птичьих крыл полощутся за ними,
и оголенные сады въезжают в зиму,
как на грузовике везут вповалку мебель —
столь откровенно выворочен быт,
лишь кое-где подоткнутый рогожей,
и стульев ножки выпирают, будто рожки.

Вчерашней ночью возле ателье проката
мне показалось: я здесь жил когда-то.
Манившая меня издалека,
над ателье зелёная реклама
напоминала о квартире коммунальной,
о самодельной мебели, долгах,
о счастье безрассудном и непрочном.

Но я искал слова для осени и ночи.

Прохожий прикурил на лунном перекрестке,
где тени падали внахлёстку, словно доски,
с разлапистых безлиственных коряг.
Свет облизнул лицо с поспешностью собаки,
и рваной маской проявился лик во мраке —
неузнаваемо глубокий, точно мрак.

Переплетенье на лице темнот и бликов
перемешалось в густоте равновеликой.

Упрятанный в горсти, обычной спички блиц
открыл спокойствие раздумий непомерных
и одиночество, приравненное к смерти, —
изнанку, общую для миллионов лиц.

И три секунды жил осколок света,
мятущийся на деревянном стебельке,
зажатый в медной напросвет руке.
По каменному желобу проспекта
прохожий удалился, волоча
дым, словно плащ, свисающий с плеча.

Сегодня ночью прекратился листопад.
Добыча ветра копошится под ногами,
хитиновые желуди хрустят.

И кто-то высоко над нами спичку зажигает,
и озаряет до последнего листка
взаимодействие цепей тончайших.
Всеобщую проверку делает наладчик,
зажёгший спичку, не имеющий лица.

А ночь колышется и раздувает жабры,
в глубоководном сне плывет громада-ночь.
Горит провал небес, как челюсти, разжатый.
До бездны звёзд умом дотронуться невмочь.

ТРОИЦА

В золочёном окладе, под толстым стеклом,
озирая скопление музейного люда,
трое ангелов чинно сидят за столом,
осененным ветвями Мамврийского дуба.

Неторжественный вид и рассеянный взор
у троих белокрылых посланцев господних.
Перед ними — вино, домино, «Беломор».
Очевидно, сегодня у ангелов отдых.

А еще на неструганых досках стола —
три стакана из чайной и килька в томате.
Левый ангел с похмелья. Небрит и скуласт.
Нимб надет набекрень, как фуражка, примятый.

Он уходит в запой, словно в шахту горняк,
зарастает щетиной, разит перегаром,
продает в анатомикум жаб и дворняг,
сквернословит, дерётся, бесчестит кухарок,
в довершение всего пропивая пиджак.

Но однажды торжественный день настанет.
Ангел твёрдо решает, что хватит — и баста.
На вокзале побрившись, бутылки сдаёт
и затем выкупает крыла из ломбарда.

Чемоданы отвёрток, клещей, молотков
волоча в узловатых копченых ручищах,
он идет по кварталу, как сам Саваоф,
окружённый оравой собак и мальчишек.

Он тогда месяцами не пьет и не ест —
чинит, красит, паяет, скоблит, купоросит,
а пятерки и трёшки он шлет в Красный Крест
или в город, где вырос, в детдом № 8.

А потом всё на свете опять надоест.

Средний ангел — художник. Он хмур и патлат.
Бородища лежит на груди, как кольчуга.
Из-под чёлки горит антрацитовый взгляд,
превращающий мир в многоцветное чудо.

Он малюет пейзажи, молчун и чудака
в мешковатых штанах и соломенном брыле.
Тяжело поднимаясь к себе на чердак,
он не думает вовсе о собственных крыльях.

Он семьи не завел — оставлял на потом,
а потом — в пламенеющей роще кленовой
любовался ещё не просохшим холстом,
отставлял его в сторону, брался за новый.

За труды он не ждёт баснословных щедрот,
полагая, что все это — как-нибудь после...
Не закупит Худфонд — он друзьям раздаёт,
завернёт бутерброд — и — с этюдником — в поле.

Ангел справа сияет, как вишня в цвету,
голубой сединой, белоснежным халатом.
Он — садовник в густом человечьем саду,
прививает побеги ума и таланта.

А когда его сад погружается в сон,
он приходит в роддом, полуночник усердный,
с дерматиновой сумкой, как почтальон,
и разносит младенцев в крахмальных конвертах.

Он доволен был делом своим и судьбой.
По теперь, по слепому велению рока,
он работает слесарем в здешнем депо.
Третий ангел не пьет. Но ему одиноко.

Так живут эти трое крылатых друзей,
украшая собою районный музей.

И всегда в понедельник, встречаясь втроём
по старинной традиции, в общую кассу
собирают рубли и идут в «Гастроном»
покупать папиросы и «Белый молдавский».

И сидят все втроём за бутылкой с вином,
грохоча домино и мусоля сигарки.
Потолкуют часок — и нальют по одной.

В понедельник у ангелов выходной.

МИФ О СУДОМОЙКЕ

...Самое великое чудо,
которое я в своей жизни видел,
было Преображение Судомойки,
в среду, в три часа пополудни.

(В это время всезнающий патриарх окрестных помоек, в фуражке без козырька, с папиросой в ржавых зубах, по улице разъезженной и мокрой плелся в харчевню, дубинкой пугая собак.)

Ровно в три часа пополудни, в среду, когда утихла ругань подавальщиц, с двумя неповоротливыми вёдрами объедков Судомойка, поскользнувшись, упала навзничь.

Возле бетонных ступенек, раскинув руки, пузырячатой грудой тряпок она лежала, И по полу, точно косички, змеились струйки — сто тысяч косичек, черных и алых.

Разве что в детстве, да, в детстве,
 ободранном, как коленка,
(а все мы — детство, обросшее чёрствым мясом)
она сидела на корточках возле стенки
с подобранным где-то корноухим паяцем.

Мать говорила, кашляя надсадно, что надо верить, верить и молиться надо — за нас, недостойных, погрязших и бесчестных заступится на небесах святая Тереза.

Судомойка думала, что это нескоро.
Не ведал никто, как молитвенно и терпеливо
она плыла сквозь мешанину корок,
капустную ветошь, лужицы подливы.

Никто не знал, а рассказывать бесполезно.
Понимала только святая Тереза,
и поэтому каждое воскресенье в соборе
горела свечка, робкая, словно горе.

Колыхалось её безрадостное тело
среди стаканов, ложек, тарелок, вилок.
Она приходила домой и что-то ела.
Потом, перед сном, долго-долго молилась.

А святая Тереза скребла городскую площадь,
в подоткнутом платье, жилистая и босая,
раздвигала пепельные хризантемы ночи
и в складках пододеяльника угасала.

(И сутулый пастух городской свалки,
в облаках зловонного дыма, хаосе птичьих взмахов,
всё копался гвоздем на длинной палке
в развалах тряпья, башмаков, одиноких запонок.)

Судомойка просыпалась под шум водосточный
и боялась вскрикнуть в подушку искусанную,
словно майской ночью, впотьмах, когда пьяный отчим
отравил её тело глухой и скользкой грубостью.

Святая Тереза, добрая святая Тереза,
как в этой жизни всё непонятно и тесно!

В среду, в три часа пополудни ровно,
она смотрела вверх, ни на что не надеясь,
среди подгоревшего жира и чугунных конфорок,
среди помятых кастрюль и волглых полотенец.

И платье слетело, словно ангел небесный,
слепя кружевами и бисерными нашивками,
с невероятных далей, где святая Тереза
четыре ночи сидела за швейной машинкой.

Благоухало шелком, батистом, парчой
платье, такое боязное и ничьё,
Судомойку ловило, точно прозрачный сачок.

Выворачивая наизнанку, как хирурги
стягивают резиновые перчатки,
Судомойка снимала руки, свои бывшие руки,
вываренные и разбухшие, как мочало.

И видело запотевшее окошко,
как шла Судомойка в подвенечном наряде
по мокрым терниям вилок, по сальным ложкам,
покрытым сыпью воды — бутонами радуг.

(А пастырь пустых бутылок — с посохом узловатым,
безнадёжный и строгий, как высоковольтная мачта, —
шел вдоль мазутного моря на юго-запад
с корзиной, набитой тревогами и мечтами.)

ЧЕРТЁЖ

В осенних ночах — пустотелых,
промоглых, тревожных —
не гаснет окно на фасаде соседнего дома,
и виден в распахнутой раме склонённый Чертёжник,
упрямой и точной работой своей околдован.

Он делает кальку со схемы ноябрьского сада, где лязгают ножницы мойры в пустеющих кронах и, не совпадая зубцами, с беззвучным надсадом вращаются листьев заржавленные шестерёнки.

Дыханье поэта и уксусный пот балерины,
размах кузнеца и прищуренный труд ювелира
осенний Чертёжник обязан собрать воедино
и тушью скрепить раздвижную конструкцию мира.

Пространство сквозит в перекосах, обрывках и хлопьях,
а Он различает мельканье колес часовое,
как мастер, надевший игольное зрение циклопа,
ища зацепление между природой и словом.

В распавшихся связях рябит обездвиженный воздух,
и гладкое время течет никуда ниоткуда,
вселенский порядок разомкнут, как птицы и гнёзда,
как листья и дерево, как божество и рассудок.

И все траектории сходятся в чёткую сетку, в прозрачные трещины четырехмерной утраты, и в этой системе — листок, отделенный от ветки, уже равнозначен падению царства Урарту.

И в том же масштабе — с крутой неуклюжестью смерти
над городом косо летят
колесо Зодиака,
округлая ночь, нефтяная пустая цистерна,
скрипенье осей и колодок шершавого мрака.

А в доме напротив — не гаснет окно до рассвета,
сидит одинокий Чертёжник под яростной лампой,
и твердые пальцы его продолжает рейсфедер
железной щепотью, где линия свернута в каплю.

РОДИВШИЙСЯ ДВАЖДЫ

Где, в каких лугах он бродил, когда
тело его разодрало потемки лона
и, стряхивая судороги наугад,
легло клубком в резиновые ладони?

Что он видел, что понял, кого он встретил,
пролетая сквозь бесчисленные нули,
когда его, словно гвоздь, тащили из смерти,
и секунды падали, как валуны?

Щупальце вечности разжалось, упорхнуло,
и он кричал — криком шальным и красным,
пронзающим потолки, точно гарпун!
А врач улыбнулся, бросив перчатки в тазик.

...Такая большая жизнь, и негде согреться,
и не прижаться, стыд, как пальто, снимая...
В нем навсегда онемел тот краешек сердца,
который нас делает пьяницами и плясунами.

Перед этим любая жалость бессильна.
Смешно одиночество тем, кто познал сиротство,
невыносимо — носить в себе Необъяснимое,
и так убого последнее, что остается:

убить свет и прийти на постель,
где женщина ждет, как озеро, невесомо,
сбросить агонию любви и вернуться к пустоте,
к черной и длинной пустоте бессонницы.

И, последней веры еще не утратив,
глазами прикрыв безжизненные глазницы,
среди торопливых прохожих он ищет братьев —
тех, кто не умрет, а возвратится.

РЕЙС МОСКВА-ЛАРНАКА

Это я, никто, улетающий ниоткуда,
совместившийся с точкой, в которой зависла
серебристая моль над кудлатой облачной грудой,
прожигая пространство, лишённое смысла.

Ибо так ли важно, чья безысходность больше,
разделённым стеной ли, улицей, континентом,
ибо нечем измерить горечь воздушной толщи
между этой и той чужбиной, меж той и этой.

А внизу проплывают реки, заплатки пашен.
Крохотные лоскутья былых империй.
Занесённые слоем времён крепостные башни,
где поверх пасутся козы среди кипрея.

Это я, в плюющемся смрадной гарью
лайнере индевеющем и бесстрастном,
различимый только для Бога или радара
неизвестно чей изгнанник, и брат, и пасынок.

ПРОРОК

Григорию Кановичу

По гортань вмурованный во время,
он гремел,
слух толпы пронзая откровеньем,
жёстким, как зазубренный кремень.

Жилистый, иссушенный, суровый,
тыквы наподобие пустой,
он служил вместилищем для слова,
непомерной волей Иеговы
выеденный, словно кислотой.

Был он только словом, просто словом,
смутным, как дожизненная мгла,
водопада лепетом бредовым,
раненой скрижалю, львиным рёвом,
мотыльковым росчерком крыла.

* * *

“Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura...”

Dante Alighieri

Однажды и я очутился в бору —
в миражном, еловом, бредовом ряду,
там снежные башни, крутясь на ветру,
как бледные боги, проселком бредут.
Я до середины прошел через слой,
где кружатся звезды гигантской юлой,
где нити белковые входят в зацеп
с началом цепи, обретенным в отце.
Я знаю, какой непомерной ценой
поплатится ставший ничем и никем,
а кубики грянут лавиной цветной
в проёмы времен, грохоча о паркет,
и будет пылиться один под тахтой,
как память о папе, которого нет.

И всё-таки — что я отвечу тебе,
когда мы восстанем при звуке трубы?
Что ветер снега завивает в столбы,
глухие, как бледные боги судьбы,
и что я когда-то, наверное, жил,
но только напрасно дудит на трубе
архангел, сплетённый из вздувшихся жил,
ведь я дотянуться уже не могу
печальной рукой до ладошки твоей
сквозь едкий, вихрящийся белый чугун
и цепкую нежность морозных ветвей.

Сколько б ни было стран на глобусе, ни в одной
не бывает больно так, как в своей родной —
безалаберной, нищей, жуткой, любимой, скверной.
По стаканам развёрстано. Поезд дает гудок.
Вальсингам, наша кровь так долго была водой,
что бессмысленно резать вены.

ПОСЛАНИЕ К СВОЕМУ ВЕКУ

Этот век спортивный, в беге своем наивный,
пахнет зверством и дымом, словно Книга Навина,
и, похоже, замкнулся древних пророчеств круг.
Удивится век, если только, сойдя с орбиты,
полыхнет планета в бешеном суициде.

Одолжите веку нероновский изумруд —
он увидит пепел, пепел и снова пепел,
за которым солнце выдохлось и ослепло,
к ядовитой земле примерзает сухая плоть,
сумасшедшие траки давят спасшихся чудом,
балахонные тени снуют по бетонным грудам,
и стоглазый робот нацеливает луче­мёт.

Уцелеет ли горсть служивых на субмарине?
Уцелеет строка, оттиснутая на глине,
и разумный моллюск однажды ее прочтет?
Я не верю тебе, нетопырь, несмышленищ, дьявол.
Мой распятый век, на кого ты себя оставил,
на кого молился, не верящий ни во что?

Я не верю, что догма стоит хоть капли крови,
не могу понять, почему то усы, то брови
по какому-то дикому праву застыт мир,
умыкают страны, радио, книги, разум,
залезают в душу своим вертухайским глазом
и жуют особый паёк во время чумы.

Я не верю, что путь к блаженству мостят костями,
что Савонаролы — истинные христиане,

что державу можно спасти, кого-то предав.
Этот век великих изгнаний великих духом,
пусть тебе пучина забвения будет пухом,
ведь из белых гвельфов памятен только Дант.

Этот век, с которым вскоре простятся люди,
если будет, кому, если люди на свете будут,
загустеет, свернется, впитается в ткань времен.
Несмываемый век, припорошенный бледной ложью,
я кладу свою ненависть к твоему подножью,
безнадёжно твоим безумием заражён.

ОЧИ

Распростёрта над Киевом, Ригой, Москвой
безучастная глушь небосвода.

Роговица ободрана звездным песком.
Запоздалой отравой, зудящей тоской
бродит в жилах свобода.

Пересохшей листвой осыпаются сны,
а потом сквозь удушливый воздух видны,
словно сгустки мороза и ночи,
неотступно следящие с той стороны
удивлённые очи.

Невозможно ни спрятаться, ни закричать.
Это шуточки, сказки — полынь, саранча,
и блудница, и зверь, и седьмая печать.
Равнодушные к вонь барака,
по колено в бессмысленной мёрзлой крови,
на корявых развалинах страха
мы косматым бурьяном над миром стоим.
И мотыгу берет херувим.

БАЛЛАДА ГАРАЖА

С полуночи трепала дрожь
наохлившийся клён,
и был черней, чем страх и ложь,
отвесно падающий дождь
во мраке за окном.

И было вовсе из окна
не видно, что вокруг — страна,
огромная, как дождь.
И где какая сторона —
в дожде не разберёшь.

Ты понимал, что это блажь,
что просто ночь и дождь,
но как подушку ни корёжь —
не выйдет, не уснёшь.

Ты вслушивался, сам не свой,
дождем заворожён,
как будто, выше этажом,
подковками, конвой,
железный ливень грохотал
над самой головой,
и ты никак не понимал,
что это — за тобой.
И где-то рядом ожидал
распахнутый подвал.

А после — звуковой провал
и пауза в дожде,

как будто ты уже стоял
в подвальном гараже.

Но это кто-то открывал
задвижку и замок.
А после — ты входил в подвал,
и твой затылок щекотал
сосущий холодок.
И кто-то позади взводил
изогнутый курок,
и кто-то дату выводил
среди бесчисленных строк...

Была всё так же тишь и темь
кирпичная — крепка.
А в караулке между тем
играли в дурака.

Шумела грозовая хлябь,
неистовствовал гром,
и, ожидая смены, зяб
солдатик под грибком,
жаля втайне, что нельзя
погреться табачком.

Вокруг — на сотни вёрст одна
глухая пелена,
дождя волнистая стена,
не видно ни рожна,
такая странная страна,
такие времена.

А дождь как будто шелестел
страницами архивных дел.
Ты эту ночь пересидел,
как все, в своем углу,
и после — дождь хлестал и лил,
но до сих пор еще не смыл
удушливую мглу
ализариновых чернил
и брызги на полу.

Идут на смену времена,
и ночь почти что не видна
в подробностях уже,
и общих списков имена,
и кровь, и общая вина, —
теряются в дожде.

Видны лишь мутный небосклон
и потускневший клён,
который к месту пригвождён
и жить приговорён.

1983

ВОЛХВЫ

Все настойчивей проблеск звезды, и прозрачной века,
И сквозь них полыхает она самовластно и ярко.
По небесной указке бредущие три старика
На обратном пути огибают хоромы тетрарха.

Вязнет обод зеркальный, преданья тяжел проворот,
И уже никого не щадила и не разбирала
Та кривая звезда, что внахлест эшелоны сирот
Громоздила за крепким забором Урала.
Всю страну перероет, однако следов не найдёт.
Три свидетеля эти страшной трибунала.

Что помечено кровью, проступит в любой мерзлоте.
Каждый череп с пробоиной будет когда-нибудь вырыт.
И волхвы побредут, покоряясь магнитной звезде.
И тревожно заёрзает Ирод.

ГОЛГОФА

Над холмом каменистым восходят горчайшие муки,
там нелепо и страшно на бревнах распластаны руки.
Это вечности жест, это боли густой ордината,
на которой так щедро раскрыта абсцисса объятья.
Это голая точка отсчёта, в которой крест-накрест
напрягается жертва с кристальным усилием каркаса,
и созреет она, и звездой небывалой взорвётся,
но не выдохнуть больше ни слова

сквозь въедливый оцет.

Только мухи надсадно роятся в искромсанном небе,
Только пьяная стража о ризах бросает жеребий.
На холме проступает разверстая ржавая рана,
словно взломанный рай

в раскалённом мозгу наркомана,
и зияет прогал в человеческой незыблемой чаше,
как моление о чаше, как моление о чаше.

ВОЗНЕСЕНИЕ

Воздевши пробитые длани,
где тлели позорные раны,
он пообещал возвратиться
присутствовавшим очевидцам,
которые, словно бараны,
стояли и глухо взирали,
как смертник становится птицей.

И облако взяло из вида
взлетающего, как торпеда
в свирепом сиянье болида,
разверткой истошного бреда
из праха упавшего в небо
сквозь муку, позор и обиду.

А дальше всё было, как прежде.
Вранье, и грызня, и дележка.
Но стало чуть больше надежды.
Хотя бы немножко.

НОЧНОЙ СНЕГОПАД

По тротуарам снегопад
катился, словно самокат
на серебристых спицах,
и, как в кульбите акробат,
не мог остановиться,
белил деревья и кусты,
валился оголтело,
пустые глыбы темноты
зачеркивая мелом.

Над улицей густела мгла,
но оставалась белой.
Казалось, что земля была
сплошным астральным телом,
она сияла и плыла
к неведомым пределам,
где вместо холода и тьмы —
могучее свечение,
где обретём и снег, и мы
свое предназначенье.

И то была не ночь, а весть
о том, что неизбежно есть
в космических пучинах
неведомая ипостась,
где тьма и свет, соединясь,
бросают в хаос, прах и грязь
зерно первопричины.

И каждый, кто в ту ночь бродил
в колючем вареве белил,
был изнутри прохладен, бел,
кипящим снегом полон,
как будто в гуще зол и дел
себя впервые разглядел
и навсегда запомнил.

ПЕЛЬМЕННАЯ

1.

Я шел в метели, жёсткой, как напильник.

Осколки снега яростно слепили,

выдаивая суррогат слезы.

Калёный город накреньялся и скользил.

Часы над площадью показывали три.

И я, преследуемый голодом и стужей,
зашел в пельменную, обычную снаружи,
не менее обычную внутри.

В минутном царстве аппетита и тепла
жизнь, словно очередь ленивая, текла.

И стрекотала касса, как сверчок,
топорща обрывной бумажный язычок,
где порции оплаченной еды
уложены в цифирные ряды.

Здесь можно взять двойных пельменей, чаю
и, сев за столик, третий от угла,
предаться трепету горячего глотка,
озябших, мокрых ног не ощущая.

Здесь хочется остаться навсегда.

Жизнь провести, как слитный сытый миг,
обильно одобренный и укусом, и перцем.

Ни разу впредь — голодным сердцем
словесность жадную не накормить.

Забыть о бедных и богатых рифмах
и, вверившись пельменному тарифу,
судьбу свою сумбурную отдать
за пахнущую кухней благодать.

Лишь наблюдать в раздаточном окошке
мелькание половников и плошек;

четыре порции — и день достойно прожит;
и, озаря штукатурный небосклон,
над суматохой гипсовых кухарок,
над валунами вздыбленного пара,
трезвоном ложечек и вилок оплетён,
сияет радужно решетчатый плафон.
Ошую от меня за столиком сидела
в громоздкой соболиной камиллавке
владычица базарной рыбной лавки.
Ее дородное, густое тело
казалось грудой хлопковых тюков
или желеобразных курдюков
и к форме пирамиды тяготело.
Была дублёрка шоколадная на ней,
и свет хрустел на жерновах перстней.
Она хлебала жидкий борщ. Напротив —
иссушенный, плешивый, косоротый
старик, поросший смертью изнутри,
заглатывал, набычившись, пельмени,
осклизлые, как рыбы пузыри,
и алым соком запивал самозабвенно,
в стакан впиваясь, как в загривок упыри.
А я сидел и озираю пельменную,
душой оттаивая постепенно.

2.

Великой книге человеческих лиц
я никогда не устаю дивиться,
хотя обычно замечаю только лица
хорошеньких накрашенных девиц.
Люблю я улицы, базары и вокзалы,
где напоказ роится трепетная жизнь,

где чья-то воля Смысл по крохам разбросала,
и зритель должен воедино их сложить.
Так, баснословно щедрая на лица,
проходит сквозь пельменную частица
бессчетных человечьих верениц.
Куда там Библия, Коран, Упанишады
перед этой ежедневной громадой
событий и страстей, историй, судебных, лиц!
Придет однажды Нестор современный,
дабы живописать величие пельменной.
Он миски сдвинет на угол стола
и погрузится в труд, чтоб год за годом
сама История прозрачным, спелым мёдом
с его пера на свиток потекла.
Так думал я и ждал, пока в стакане
скелетик сахарного кубика растает.
Смотрел в слепое зимнее окно,
и мне открылось лучезарное виденье
вот этой самой, общепитовской пельменной
спустя десяток пламенных веков.
Я зрел пельменную трехтысячного года,
где не толчется очередь у входа
и где белки, жиры и углеводы
согласно движутся конвейерной рекой,
и вам не надо суп хлебать рукой.
Венец творения и светоч ноосферы,
пельменная, омега всех начал,
там властвуют всецело полимеры
и гармонический моральный идеал.
Там бутерброды пышные, как торты,
там помещения просторны и светлы,
там вилки добела отмыты и протёрты

и асептически продраены столы.
Пельменная трехтысячного года!
Там торжествует новая природа
общественного строя и харчей.
И вся Галактика, и вся Вселенная —
уже единая разумная Пельменная.
Апофеоз бесплатных калачей.
Там композиторы, художники, поэты,
в полиамидные хламиды разодеты,
едят из тюбиков полезный джем,
гремят фиалами с искрящимся компотом,
и вся пельменная трехтысячного года
трясётся от симфоний, тостов и поэм.
И лишь один поэт, в сторонке от веселья,
блокнот пластмассовый марает наугад —
пытается понять, а как же в самом деле
все это выглядело тыщу лет назад...

Моталась дверь, впуская гроздь белой бури.
Входили снежные неловкие фигуры.
Они отряхивались, топали ногами,
как будто молча на пургу негодовали.

Мной исподволь владело беспокойство
неясного и необыденного свойства.
Сквозь стылую нахохленную мглу,
среди шатких столиков и стенок обветшалых,
поверх платков, шапчонок и ушанок
забресжил теплый, чистый луч.
Никак не мог я уловить, откуда
идет сиянье и струенье чуда.
Навряд ли от соседей по столу.

И, обведя глазами помещение,
я увидал: под вешалкой, в углу,
за столиком сидела одиноко
Мадонна юная, бледна и синеока,
ко мне вполоборота, чуть дыша
от рафаэлевского счастья и смущенья,
кормила грудью малыша.
Да, чуть дыша, бледна, вполоборота,
сидела за измызганным столом,
и голубая грудь текла в припухлый ротик
в расстёгнутом бесстыдстве пресвятом.
Вокруг Неё потупившись, сидели
жующие мадонны без младенцев.
А на столе, среди объедков сальных, —
обломками заоблачного света
топорщилась в заляпанном стакане
готическая лилия салфеток.
Тайком ханыги разливали водку,
компотные двухсотки пряча под столом,
и клацало угрюмое стекло.
Раздатчица на них взидала кротко.
Старуха подле них кормила внука.
Её лица изюм лиловый,
пронизанный заботливостью снулой,
светился отраженьем жизни новой,
зашедшейся в кормёжной муке,
сучащей ножками под непомерным стулом.
В своей обыденности сокровенной
вершилась жизнь под сводами пельменной.
Я встать хотел и, душу сжав в горсти,
такую речь произнести:
«Ты не спасёшь голодных и бездомных,

на каменных сердцах не высечешь следа.
Пойми, что Ты кощунствуешь, Мадонна,
своим бессмысленным сошествием сюда,
в проклятый край, надеждами забытый,
в форштадты с переулками глухими,
где женщины, изжёванные бытом,
тела свои таскают, словно гири.
Раздавленных побоями и блудом,
зачем дразнить их непорочным чудом.
Ты ничего не в силах изменить.
Я богохульствую. Мадонна. Извини».
Но я не смог Ей этого сказать
и виновато опустил глаза.

Я вышел. Было холодно и звёздно.
Уткнувшийся в шинельный ворс мороза,
я брёл по городу без цели и пути.
На циферблате было два без десяти.
И двадцати веков, кровавых и крестовых,
недоставало до распятия Христова.

1984

ЭЛЕГИИ О ЧЕЛОВЕКЕ

Элегия I.

Человек, проснувшийся ночью

Человек, проснувшийся ночью, надевает халат на вате,
шарит в поисках шлепанцев под кроватью,
бредёт на кухню, распугивая тараканов,
ищет чистый стакан и набирает воды из крана.
Тараканы боятся ночного человека,
между тем, человеку бояться некого.
Человек тараканам кажется грозным богом,
который заносит карающую ногу.
Божья подошва обрушивается с потолка!
Это — последнее, что видит таракан.

Человек, внезапно проснувшийся ночью,
ещё не освоился в собственной оболочке.
Его движения вялы и ум створожён.
Одновременно обмякший и тревожный,
человек допивает воду из стакана,
вокруг него мечутся тараканы,
и кадык его ходит, как поршень.
Человек любит воду. Тараканы не любят солнца,
но им нипочём свинец, дихлофос и стронций.
Орда тараканов несметна. Их можно давить веками.
В совокупности неуязвимы тараканы.

Человек, ни с того ни с сего проснувшийся ночью,
мается горчайшим из одиночеств.
Ночью нету автобусов, спешки, давки,
телевизоров, начальников, прилавков,

днём имеется жизнь, а ночью — что делать
наедине со своими душой и телом,
страхами, вожделениями, судьбою,
наедине и лицом к лицу с собою?

Человек ощущает что-то, и это что-то
удушливей быта и тягостнее работы.
Он чувствует, что над ним нависла ступня.
Он молится: «Господи боже! Прости меня.
Я жил как все. В обращении был удобен.
Ходил на службу. Чистил зубы и обувь.
Не преступал предписаний, законов, правил.
Господи мой! Зачем ты меня оставил?
Почему нет хотя бы горя или покоя?
Что такое человек, что он такое?..»

Человек — это башня, загадочная, как рок,
с жуткой ногой, застилающей потолок!

Человек, бредущий назад к постели,
думает о том, что на самом деле
можно проспять всю жизнь и проснуться однажды
от слёз, от жути, от непонятной жажды.
В животе у него глухо плещет ночная вода,
вязкая, как слово «никогда».

Элегия II.

Человек, закусивший сердце

Человек, закусивший сердце, проходит через
подворотню, словно китовую челюсть,
и восходит по каменной гортани
дряхлого коммунального Левиафана,
воздушнее, чем отрывка, мрачней Ионы,
непреклонней дорической колонны.
Этот дом накрывается за год на два промилле.
В этом доме рожали, дрались, порой любили.
Человек достает ключи. Он уже уверен,
что ступит в бездонную шахту за собственной дверью.
Он измучает женщину, которую любит,
истерзает ей душу и молодость погубит,
бросит её с трехмесячным младенцем
и ещё страшнее закусит сердце.
Человек лютует похлеще Сарданапала,
в его жилах течет не кровь, а сгустки напалма,
у него готовы ответы на все вопросы,
он два года не платил профсоюзные взносы.
У него дурно пахнет изо рта.
Закусивший сердце, не смыслящий ни черта,
человек переходит подспудно в иную сферу,
где напихано иовов, словно сардин в консервах,
он здороваётся и безразлично ищет,
где приткнуться ему, чтоб язвы скрести на гноище.

Если б заранее знать, примеряя муку,
словно в скафандр, погружая то ногу, то руку,
что это — плащ, пропитанный кровью Несса:
прирос, и не сбросить, и никуда не деться.

Если бы можно — насквозь увидеть судьбу,
как авиатор видит печную трубу!

Ребенок растёт на туме. Женщина плачет.
Человек, закусивший сердце, не может иначе.

Элегия III.

Человек, уснувший над

Человек, уснувший над пустой тарелкой общепита,
охмелел от шницеля и молока.

Сон его прочнее конского копыта
и внезапней стука молотка.

Он уже ничей не муж, не сват, не брат,
он всего лишь человек, уснувший над.

Сон похож на сад со множеством оград,
где бессонные прожекторы горят,
озаряя вход, который стережёт
круглосуточная вахта у ворот.

Этот сад похож на сад и только сад,
где растут на воле тысячи усад,
и попавший ненароком в этот сад
никогда не возвращается назад.

У бессчётных поколений на виду
кто-то молится в оливковом саду.

Звезды, ветер, каменистая гора,
шелестящее кипенье серебра.

Горький шёпот умолкает, и в ответ
в тишине бегут, как в озере, круги,
но следов не оставляют на траве
гефсиманские тяжелые шаги.

Расцветает ореол над головой,
а хитон струится плавно, как река,
и не ведает, что делает, конвой
с трёхлинейками в растерянных руках.

Элегия IV.

Человек, запродавший тело

Человек, запродавший тело в анатомичку,
свободен от морали и от приличий.
Запродавший тело свободен от предрассудков,
галстуков, носков и дезодорантов.
Что найдут постфактум в его желудке,
для науки останется непонятным.

Можно жить без мебели и пирожных.
Практика доказывает, что можно.

То, что будут прилежно кромсать студенты,
имеет свои счастливые моменты
в виде апельсинового лосьона
(два флакона — семьдесят шесть копеек).
Для него мысли о женщине — словно
для меня раздумия об Америке:
вроде и есть на свете, но тем не менее
не имеет личного отношения.

При ходьбе покачивается, как бакен,
в подворотню шмыгает воровато
то, что будет лежать по спиртовым банкам
до трубного гласа в долине Иосафата.
Но он еще изомнёт заместо простынок

несколько тонн газеток цвета хурмы.
У человека в паспорте штампик синий:
человека нельзя хоронить.

Человек, запродавший тело в анатомичку,
поступил опрометчиво и непрактично.
Порция человеческого утиля
ценится ниже стеклянного, ибо тело
стоит ровно столько пустых бутылок,
сколько удаётся собрать за неделю.

Запродавший тело не думает об этом.

Элегия V.

Человек, раскопавший Трою

Посвящается А. Парицикову

Человек, раскопавший Трою, нашел не Трою.
Впрочем, сей результат его устроил:
он стал богаче вдвое, а может, втрое.
Пока что нет результата, но есть лопата,
нет ни славы, ни почестей, ни золотого клада.
Человек опирается на лопату, слюнит сигарку.
Он доверяет нюху, а не Плутарху.
В глубине под холмом притаилась Троя.
Он её обязательно отроет.

Под холмом Гиссарлык лежало стопкой
множество городов с названием Троя.
Вперемешку — цари, погонщики мулов, герои.
Отставной коммерсант приступил к раскопкам.

Но кто б ни корпел с лопатою над бугром,
до истины докапываются пером.

Я утверждаю: Трою сгубил не случай,
не забавы царского сына с ахейской сучкой.
Происки древнегреческой военщины
имели место вовсе не из-за женщины.
Чтобы понять, отчего погибла Троя,
надобно уяснить две простые вещи:
что есть война и как человек устроен.

Сначала я опишу, что такое война.
Есть две группы мужчин и крепостная стена.
Это является и поводом, и причиной.
Похожие на самовары, сверкающие мужчины
сходятся у крепостной стены, которая
безусловно войдет в поэзию и в историю.
В руках у мужчин — заострённые предметы.
С головы до пят мужчины одеты
в бычью кожу, олово, бронзу, медь.
Из них доживет до заката едва ли треть.

Над полем клубятся хрипы, вой, матерщина.
Разделившись попарно, сопящие мужчины
друг у друга на теле делают надрезы
при помощи отточенного железа.
Это и есть их призвание и работа.
В ход идут булжники, зубы, гвардейские минометы,
сабли, грабли, дубины и прыгающие мины.
Уцелевшие после этого мужчины
стоят по горло в грязи кровавой.
Это называется «доблесть» и «слава».

Им на грудь привинчивают ордена.
Все это называется «война».
Теперь опишу человека. Его устройство
имеет забавное амбивалентное свойство:
дух человека проходит через века,
тело приходит в негодность от пустяка.
Человеческое тело устроено так:
спереди руки, чтобы бить и хватать,
снизу ноги, могучие рычаги.
Как правило, у человека две ноги.
Внутри у него — агрегаты и шарниры.
Но если добавить к его естественным дырам
хотя бы одну — затихают почти мгновенно
процессы окисления и обмена.
Испорченное тело выносят вперёд ногами,
потом зарывают в землю или сжигают.

Это среди людей называется «гибель».
Она порождает славу, приносит прибыль.
Представьте, как возрастает эффект, когда
погибают целые города!
Есть много способов, как уничтожить город:
можно его осадить и обречь на голод,
можно вырезать в городе все население —
без разбору, женщин, детей, стариков,
некому станет ремонтировать стены,
и сам по себе разрушится постепенно
город всего за несколько веков.
Можно спалить дотла и опять построить.
Так росла из эпохи в эпоху Троя,
на костях поднимаясь к небу, пока сама
не стала подошвой лысого холма.

Время — это чудовищная лавина,
чья броуновская бешеная кутерьма
в конце концов обретает форму холма.
Холм — это ноль, закопанный до половины.
Троя — пример того, как может прийти Земля
до естественного завершения. До ноля.

Лучше бы ты не раскапывал Трою, парень.
Лучше валять Муму, заниматься фарцой, кочегарить.
Лучше обучись обработке металла.
Троя — это мираж, болотный пузырь метана.
Кто с ней связался, тому не видать покоя.
Вот что такое мифическая Троя.
С ней воевали монголы, норманны, ляхи.
Не раскапывай Трою, ну ее на хер!
Ученые дяди выдумали Гомера,
они пошутили, а ты, как дурак, поверил.
Не все ли равно, кого возвести в примеры?
Хотите — Гомера? Валяйте. Можно Гомера.
И вот — вся античность реальна для нас в той мере,
в которой она соотносится с Гомером.
Гомер — артефакт, гомункулус, химера,
но мир бы не вынес отсутствия Гомера.
Вымышленный Гомер напридумывал Трою.
Ученые пишут о ней, фанатики роют,
надеясь найти её оттиск в пустынном прахе.
Брось это дело, парень, пошли её на хер.

Разгреби облака над увядшим храмом —
ты увидишь воздушную пропасть, яму,
по фактуре похожую на сыр
благодаря обилию мелких дыр.

Там намешаны в виде густого газа
руины держав, недоступные для глаза.
Словно мошки, меж облаков роятся
саркофаги владык и осколки наций.
Их двойников под ногами у нас откапает
археолог с кисточкой и лопатой.
Земля содержит, кроме сухого праха,
судороги сердец, изверженья паха,
браслеты и берцовые кости женщин.
Разгреби облака — увидишь не меньше
ненужных вещей, страданий, безумств, обломков,
презрительного забвения потомков.

В облаках, в атмосферном культурном слое
крышами книзу плавает древняя Троя —
призрак, вернее, дымная эманация
Трои VII А, раскопанной американцем.
Над головой — то же самое, что под ногами.
Снизу камень, сверху — идея камня.
Господи не приведи вам дожить до часа,
когда они воедино соединятся
и возникнет критическая масса,
чреватая всеобщей цепной реакцией!
Небо как власяница. Концентрация CO_2
достигает степени, когда
меняется климат, раскаляется воздух
и ледник ползёт к экватору, как бульдозер.
Горе тебе, Вавилон, Урюпинск, Оттава!
Небо задымлено. Реки полны отравы.
Горе гордыне людской, расщепившей атом.
Горе питающим сосцами и «Детолактом»,
во чреве имеющим скрытую трисомию!

Горе вам, города морфинистов и содомитов,
города, воздвигнутые на слоёной гнили,
на руинах, крови, головешках, чумных могилах,
города, упрятанные под сопки
без всякой надежды на будущие раскопки!

Что нашел человек, откопавший Трою?
Первое — это шумную славу, второе —
неожиданно для себя человек открыл
молву, завистников, гогот ученых светил.
И то, и другое, и третье — всё преходяще.
Троя II окажется ненастоящей.
Время рассудит, насколько прав и велик
человек, вонзивший лопату в холм Гиссарлык!

1984

* * *

Зацветает черёмуха. Это,
как всегда, к холодам.
Излученье душистого света,
предваряя дремучее лето,
холодит, как всегда.

Виснут грозди, как тихие звёзды,
темень сучьев тверда и трезва.
Льнет настойчивый воздух,
эту нежность напрасной и поздней
невозможно назвать.

Холодок между курткой и кожей,
меж тягучих, медовых ночей,
скоро будет он прожит,
чуждой прихоти краткий заложник,
некой воли веленье, а может,
что всего тяжелее, ничьей.

* * *

Ивы медлят желтеть, осыпаться,
отсыпаться в снегах до весны,
в раздвигающемся пространстве
так отчетливо зелены.

Все прозрачнее кружево рощи,
и, уродец древесной семьи,
только ива по ветру полощет
одинокие листья свои.

О, негромкое мужество веток —
перед ликом кончины слепой
не растратить себя напоследок.
До конца оставаться собой.

ДЕРЕВЬЯ

В краю перелесков, озер, хуторов,
который сиренью и яблоней вышит,
а дни величавы, как поступь коров,
мы спали в саду, безмятежней и тише
Адониса под материнской корой.

Сияли зеленые, синие дали,
ночами в реке изгибались огни
небес и деревни; обнявшись, мы спали
и были в блаженстве деревьям сродни,
забыв, что полжизни мы врозь проплутали,
на тысячи верст и столетий — одни.

Деревья, как стража забытого рая,
от ветра сгибались в истоме густой
над выцветшей дранкой сенного сарая,
сорили пылью и плескали листвою,
косматыми ртами в земле утопая.

МЕТАМОРФОЗЫ

1.

Когда я умер и воскрес,
езде шумел осенний лес,
езде карабкались деревья
в крутую впадину небес.

Я им завидовал всегда,
и в том была моя беда.

Я стал недвижимым и незрячим,
в песок врастил свои ступни,
но умирал совсем иначе
и воскресал не как они.

Я не умел питаться светом,
сосать корнями скудный грунт
и только рост считать за труд.

Я жил не так. Я принял это,
как окончательный итог.

Но по-другому жить не мог.

Всё тот же мир. И осень та же —
и сучьев газовая сажа,
и листьев охра и краплак.
Лишь я себя в себе не нажил,
опять воскрес, но жил не так.

2.

Я шел вдоль бывшего болота.
Лес раздвигался и редел.
Неподалеку шла работа
цивилизации людей.

Узлом дремучего металла
бензопила в траве лежала.
Был сон бензопилы тяжел.
Напарница вгрызалась в ствол,
захлебываясь древесиной,
чадящим бешенством бензина,
надрывным визгом правоты.
И крона рухнула в кусты.
Тогда лежавшая пила
подругу крепко обняла.

В лесу светился свежий вырез,
костер барахтался, шипел,
и дуб, разъятый, как Озирис,
лежал в опилках и щепе.

СТОУНХЕНДЖ

Куда ни погляди — повсюду,
как непомытая посуда,
в глухой парше известняка
и толще торфа беспробудной
лежали плоские века.

Ночная бездна задыхалась
в родильне точного ума,
перелопачивала хаос,
но им была она сама,
а звезды, спутанней кудели,
то наливались, то скудели.

Лишённый цели и причины,
небесный жернов буксовал.
В ночи друид, неотличимый
от грубо вытесанных скал,
стоял, спелёнатый овчиной,
и на созвездия глядел
сквозь грузный каменный прицел.

ПЕЙЗАЖ С РЫБОЛОВОМ

Вольдемару Баалу

Комком надвигавшейся ночи
в осоке стоял рыболов,
составлен из темных и прочных,
набрякших терпеньем углов.

Чернел силуэт рыболова,
двоился в послушной реке,
как будто безумное слово,
к которому рифма готова
в диктованной Богом строке.

Он был от смиренья горбат,
казался напрягшимся глазом,
в котором сомкнулись река,
созвездья, огни и закат
в единый и пристальный разум.

Дымились речные изгибы,
и, как на алмазном гвозде,
вращались небесные глыбы
на тонкой Полярной звезде.

И зодиакальные рыбы
недвижно висели в воде.

ВЗГЛЯД

Андрею Левкину

Ночная громада лохматого сада
упрямо пыталась взлететь в никуда,
сквозь тысячелетья сияла звезда,
а сад закипал, подминая ограду,
и мехом кузнечным вздымался и падал.
Мятущийся, вздыбленный мир — как узда,
держало сцепление предмета и взгляда.

По сути — никто, соглядатай случайный,
ты осью глазной мирозданье скрепил,
в забвенье сойдешь и останешься тайной
для этих великих ветвей и светил.

Отныне, в твой разум торжественно врезан,
чернеющий сад извивается в бездне,
роняет созвездья в прорехи листья.
Осыплется небо, а зренье исчезнет,
но где-то в основе, в изнаночном срезе
останется взгляд, словно след кислоты.

СПИЧКА

Разбужен пружинистым взмахом крыла,
я спичку нашарил, на локте привстал,
и вспышкой разорвана ночь пополам,
но светом очерчена лишь пустота.

Текут небеса с постоянством речным
за форточкой, пристальной, как полынья.
Мне странно, что в этой громадной ночи
смогли разглядеть и окликнуть меня.

Лохмато свисают концы темноты,
сужаясь над крохотной каплей огня.
Наверно, блуждая в пустотах земных,
ты вздохом случайно задела меня.

А может, в движеньи обратных времён
прогнулось пространство, скрестились года,
и этим — несуществование моё,
как щепку потоком, пригнало сюда?

Завеса колышется на сквозняке.
Огонь непроглядной тревогой обжат.
Я — спичка, я — пламя в незримой руке,
и пальцы ее удивлённо дрожат.

* * *

Некому звякнуть за дверью ключами,
в доме ни звука, и если б не вечер,
может, прошла бы вполне беспечально
жизнь, и, наверное, было бы легче,
если бы память могли переставить,
словно привычную старую мебель,
если б смогли на мгновение представить
где-нибудь, кроме бесстрастного неба,
встречу свою, без попреков и травли,
стало б хоть чуточку легче обоим.
...Снятый портрет неизбежно оставит
взевшийся, свежий квадрат на обоях.

Поздним рассветом накормишь ребёнка,
выйдешь в прихожую, наспех одетая,
и отшатнешься, забыв про гребёнку, —
в зеркале дождь и осеннее дерево.

* * *

Неважно, в какой стороне
тебе забывать обо мне.
Все наши обиды, обеты,
победы, надежды и беды —
давно уже там, в глубине,
на дне, в голубой тишине
привольно струящейся Леты.

В распахнутом настежь окне
так много прохлады и света.
Не верится даже, что это
в оставленной Богом стране.

* * *

Мне от вас ничего не надо,
В одиночку несут свой крест.
Не прошу ни руки, ни взгляда.
Всё останется так, как есть.

А поскольку ничто не вечно,
мне достаточно будет встречи,
что короче счастливой ночи
и удара ножом короче.
Где-нибудь в суете вокзальной
повстречаться на миг глазами...

Или даже не надо вовсе
этих раненых глаз в окне.
Пусть я знаю, что вы живёте
и не думаете обо мне.

Но однажды, безлунной ночью,
не поймет ни друг, ни родня,
что в последнее из одиночеств
проводите

вы
меня.

В край суровый и непроглядный
проводите до конца.
Мне от вас ничего не надо,
даже имени и лица.

* * *

В ликовании и в печали —
как ни складывалась судьба —
мне всегда тебя не хватало.
Только раньше не знал тебя.

...Было шумно и деловито,
и хозяйничала весна.
Я полжизни тебя не видел.
Но я сразу тебя узнал.

Боже мой, до чего фатально,
даже странно припоминать,
мне всегда тебя не хватало,
просто этого не понимал.

И другого уже не будет
узнавания и родства.
Без тебя моя жизнь — безлюдье,
не укладывающееся в слова.

ПОРТРЕТ В ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ АЛЛЕЕ

1.

Забытая всеми аллея в глуши мироздания,
не знавшая ножниц, курчавая и вырезная,
притихла и словно бы ждёт молодого поэта,
которым она по достоинству будет воспета.
Но где тот бормочущий отрок, бредущий, мечтая
под вздохи листвы и разбойничий посвист трамвая?
Он ямбом охвачен, как ветром, до сладостной дрожи,
густые слова на губах набухают, как дрожжи,
и жизнь его вся, на поверку, — сплошное моление
о речи, способной достичь совершенства аллеи.

2.

Смотри, он уходит, глазами уткнувшийся в гравий,
уже от мечтавший своё о Москве и о славе,
что шансы даёт становиться мудрей и добрее,
понять наконец, что ему рукоплещут деревья,
и нимбом толчется его комариная свита,
и острые звезды нацелены, словно софиты.
Желая покоя, избрав добровольно молчанье,
себя утешая, что так избежал измелчанья,
смотри, он уходит, едва различим в отдалении,
а чьи-то шаги раздаются в начале аллеи.

ПСАЛОМ 8

Уста младенцев славят Бога,
Кто их во благо сотворил,
воздвиг небесные чертоги,
возжег обилие светил.
Господь Всесильный и великий,
что — человек перед Тобой?
Но так сильна Твоя любовь,
что создан человек владыкой
над всяким Божиим созданием —
над агнцем, птицею и ланью,
над рыбами в морских пучинах,
над существом и естеством.
И только ангельского чина
не удостоил Ты его.

ПСАЛОМ 37

Господи! Не в ярости и гневѣ
накажи и обличи меня.
Разъѣдаютъ грудь мою и чрево
язвы отъ небеснаго огня.
Я наказанъ столь, сколь уместиться
можетъ в грѣшной плоти смертныхъ мукъ
Господи! Тяжка Твоя десница,
беззаконью в пору моему.
Раны сплошь, и нетъ на теле места
целого... О Господи, Ты правъ,
очи мне страданіемъ завесивъ,
суетное сердце растерзавъ
и вогнавъ межъ окаянныхъ чреселъ
воздаянья пламенный буравъ!
Пораженъ Твоею силой грозной,
я лишился ближнихъ и друзей.
Каждый день приумножаетъ козни
жаждущихъ погибели моей.
Сокрушѣнный, сделавшійся тенью
прежняго величія, скорбя
и предвидя близкое паденье,
Боже, уповаю на Тебя!

ПСАЛОМ 6

Господи! Не в ярости и гневѣ
накажи меня и обличи,
ибо плоть мою снедает немощь,
кости, как уголья, горячи.

Боже, исцели меня, помилуй,
отгони карающую мглу,
ибо, если я сойду в могилу,
как смогу воспеть Тебе хвалу?

С окроплѣннаго слезами ложа
подыми могучею рукой,
покарай врагов моих, о Боже,
дай душе отраду и покой.

Лицемеры, в страхе удалитесь!
Господи, спаси и помоги,
верю, что услышана молитва
и постыжены мои враги.

ПСАЛОМ 41

Не так измученная лань к воде
сквозь чашу сумрачную рвется,
как тянется душа моя к Тебе —
живительному, вечному колодцу.

Мне слёзы стали хлебом и питьем.
Средь славословящего сонма,
ликующий, вступал я в Божий дом,
а ныне обо мне никто не вспомнит.

Не унывай, душа, не унывай,
врагов лукавых не смущайся,
на Бога истинного уповай —
и он тебе пошлет покой и счастье.

Над головой седой поток ревёт,
им бездна призывает бездну.
Я погребен в пучине Божьих вод,
ещё немного — и совсем исчезну.

Яви мне милость, Господи, Твою,
спаси меня Твоей любовью.
Хвалу живому Господу пою,
молюсь Тебе, оставленный Тобою.

Не унывай, душа, не унывай,
врагов лукавых не смущайся,
на Бога истинного уповай —
и он тебе пошлет покой и счастье.

ПСАЛОМ 76

Подъемлю глас: услышь меня, Господь.
В день скорби — лишь к Тебе рука простёрта.
Изнемогает дух, трепещет плоть.
Твою бессонницу не побороть.
И древний мрак пульсирует в аорте.

Неужто Ты отринул навсегда?
Тебя страшились бездна и вода,
а стрелы падали сквозь тучи
на тот народ, беспечный и могучий,
в руке Твоей бредущий никуда.

НА РАССВЕТЕ

С добрым утром,
Богородице Дево,
в голубом и жемчужном окладе,
с добрым утром,
глазастый мальчик,
улыбающийся тихо и строго,
вы уж меня простите,
или как вам угодно.

Может, я вам надоел
или не нужен.
Лишь бы мне вас теперь
не покинуть.

ТВОРЦУ

Покуда нас берёт за глотку
звнящий голод или страх,
благодарю за все решётки
в Твоих бесчисленных мирах.

За то, что солнечно и сыро,
за то, что жизни нет конца,
и нежная жестокость мира
висит, как бритва, у лица.

* * *

Захлопнулся провал
как челюсти земли
пока я пропадал
от памяти вдали

но свет луны томил
заглохшее жильё
где в зеркале как ил
безумие мое —

ПСАЛОМ

Благодарю за слепоту,
в которой было так светло,
что сам не знал, куда иду,
лишь сердце корчилось и жгло.

И, дотлевая на лету,
сквозь пепел, вьющийся в груди,
благодарю за пустоту,
куда Ты брезгуешь войти.

А Ты негаданно ушёл
среди обыденного дня,
и смотрит в зеркало чехол,
где нет и не было меня.

* * *

Играй на разные лады,
лови, кидай, веди
от перекошенной любви
до царственной беды.

А я шагаю налегке,
постылый вечный жид,
и Ниточка в Твоей руке
участливо дрожит.

* * *

Инаре

По тропе, как орех, пустой,
через горечь и сладкий стыд,
нас вела звезда на постой
в теплый скит.

В деревенской церкви повенчал монах.
И звезда цвела в головах.

А потом несли нас поврозь поезда,
самолеты, автобусы и такси.
Вышиной с Карадаг взметнулась вода
и обрушилась в никуда.
Ну да Бог простит.

* * *

Теперь надоела окольная речь,
хотя поначалу привык.
Зачем проволоочки, приказывай лечь,
подставить кадык,

чтоб кровь перед взмахом кривым, ножевым
застыла узлом на весу.
Прикажешь опять притвориться живым —
и это снесу.

* * *

Мы бродили по склону змеиной горы,
ожидая вечерней недоброй поры,
среди колючек и трещин сухих,
но на самой вершине беспечной игры
нисходили дары и кружились миры
в недоверчивых пальцах твоих.

Мы наощупь искали пронзительный свет,
заблудившись в изнанке стекла,
торопливый озноб меж лопаток стекал,
но рука все плыла между свеч, сигарет
и несла недопитый стакан.

Я не вправе об этом теперь вспоминать.
Я смотрю, как орудует тот
всемогуший урод, распластавший меня,
чтобы взрезать брюшину, ввести электрод
и включить ослепительный ток.

Возвратившийся ветер смешал времена,
вихревой кочергой разметал имена,
между рёбер вмурована чья-то вина,
словно перстень, стрела и печать.
Так пускай между всеми стоит тишина
толщиной с бесконечность ночного окна.
Слишком стыдно кричать.

ПРОЩАЙ

Когда в меня ты проросла
и тьма была почти светла
и тело медленно текло
как раскалённое стекло

в мозгу плескался ртутный зной
и осязания тиски
нас возносили над землей
где рай крошился на куски

но Бог не в силах был помочь
саднила ночь я выжег ночь

а в десяти минутах дом
ходьба по улицам кривым
пойми я вовсе не о том
что снова страшно быть живым.

ПЕСНЬ БЛАГОДАРНОСТИ

Допустим, сумасшествие и смерть.
Совсем не та блаженная тревога,
что в юности снедала нас, как воск.
Допустим, ну и что. Нельзя быть порознь,
вдали от губ, ногтей, от скользкой боли,
распахивавшей небо так внезапно,
неумолимо, яростно и слепо,
безумию и гибели сродни.

Но порознь быть нельзя, пойми, нельзя,
ведь я тебя ношу в себе как рану,
в мозгу незаживающая точка
вращается, отравлена тобой.

Мне странно отпирать свою же дверь,
входить вовнутрь, не зажигая света,
входить смиренным чужаком туда,
где воздух соткан из твоих движений.

Я знаю — сумасшествие и смерть
сродни стране, где горе беспечально,
где много золотистого песка,
душистой тени, вкрадчивой воды,
где порознь быть нельзя, где каждый носит
в себе другого, ощущая тихо
двойного сердца властные толчки.

Когда в душе, набрякшей, как сосок,
мы раскрываемся, щедрей и проще,
чем лоно, умахённое желаньем,

распахиваемся и пьем друг друга,
летая на качелях жадных мышц,
вздыхаемся, пронзая темноту,
и после гаснем в исступлённом крике,
когда по коже, словно пот, струятся
нестрашные безумие и гибель,
как два ручных зверька, перебегая
из рук на плечи, и, клубком свернувшись,
сощуривают жёсткие глаза,
тогда я начинаю понимать —
им порознь быть нельзя, и нам нельзя,
вот потому-то
мне странно отпирать свою же дверь
и, сделав шаг вовнутрь, стоять подолгу,
не зажигая света.

ПЕСНЬ ПРЕДЧУВСТВИЯ

Каждый звук извне — это ты и не ты.
А ещё немного — надежда.
Значит, мир способен еще к движенью,
рассыпая крохи дрожащих свидетельств,
обманчивых, впрочем.

Каково быть звуком, обрывком заблудшей мысли,
робким вспугнутым шорохом, жаждой, проклятьем,
растворяться бесстрастно в нигде,
каково, объясни.

Я не знаю — не знаю — не знаю — —
Объясни, каково быть звуком,
нагим и лёгким,
беззащитным и вкрадчивым, вроде ножа,
огибать в испуганном полете Землю
и бросаться эхом к твоим ногам,
каково оказаться теплым биением
среди пустых растопыренных пальцев,
сразу быть и не быть,
и даже не ведать о том. Объясни.

Каково быть нежностью слуха,
впивать отголоски шагов,
растворяться в акустике мира
там, за дверью и стенкой,
быть не здесь, не внутри, не вовне:
лоскуток шелковистого времени,
словно плотик, плывёт
вне мечтаний и страха —
каково быть слухом, и только,

покорным, унылым, распластанным слухом,
встрепенувшимся, ликующим, жадным,
опустевшим, обманутым слухом —
каково ему, ты не знаешь.

Ведь и то, что жизнью зовется,
лишь отблеск тоски по Иному —
мы сжимаемся, вздрагиваем, ощутив на себе мимолётно
касание бесплотных подошв. Но если б не это,
воцарилась бы тьма, где место лишь мясу и поту,
лишь натуге, возне, лишь неотступной истоме,
тьма, лишённая смысла,
горсть звериного смрадного праха,
равнодушная наглая жуть.

Слух, трепеща, приникнет к скудному подаянью,
слепок воздушной плоти
размножится властным гулом —
и там, в сердцевине мира,
напрягшейся неимоверно,
только шелест, обломок ноты, предвестье встречи,
но это снова не ты.

ПЕСНЬ ТОРЖЕСТВА

Даже ты неспособна отнять
ни секунды прошедшей,
покуда я жив.

Так и будем томиться
на разных краях
сожаления, боли, Земли.

Единение вечно.

Память больше не жжёт,
словно в озере, плещутся в ней
два свободных и радостных тела.

Свет — лишь вдох темноты,
а мы — ее выдох.
Никому не дано ни мгновенья стереть
на прозрачных скрижалях былого.

Одиночества нет.

СТРАННИК

А теперь посмотри что тебе остаётся
расцветающих веток глухое сиротство
ласка глины наивно скользящей меж пальцев
обожжённое солнцем смирение скитальца
да зудящий росток прободающий сердце
да воды завиток в полушаге от смерти

Кровеносная тьма всё прохладней и гуще
нищий пасынок плоти наощупь идущий
ты едва различим на краю небосвода
как прибрежный валун ты вырастаешь в свободу.

* * *

Я выйду навстречу — неважно,
куда, из какой черноты.
И кожа откликнется влажно,
и хлынет рука, чтобы нежно
под ней возникали черты.

Неважно — хотя бы над нами
была только эта звезда,
и неба холодное пламя,
и в тёмной груди, словно в яме,
упругое жало креста.

ТЕПЕРЬ

Я готовился встретить
 злобу разлуку беду
я бежал в твоём теле
 как раненый вепрь по льду
и в косматой щетине
 присох изумленный всхрап
просто боли дитя
 просто воли Господней раб
замыкалось время
 трепетало только *теперь*
и еще на одно блаженство
 пройдя вперёд
возвращалось тело
 круг описав к тебе
саднило мясо
 и грузно крошился лёд —

ДИТЯ СВЕТА

восемь текстов

I. БАШНЯ

Так в земле прогоркшей бродит холодный сок
то листва став прахом пропитывает песок
чтобы корни нащупать подняться вновь по стволу
так и я тебя осязал сквозь былую мглу
в пустоте без тебя я всё же к тебе приник
словно стоя на башне рушащейся каждый миг
и всё объяснилось и каждая боль светла
и рука над бездной дожизненной расцвела —

II. НЕЖНОСТЬ

Ветер входит под рёбра
и его не удержишь ничем
только кольцами бёдер и рук
изумленьем продольного танца
где никто не помнит себя
Нежность
пронзает навывлет
в содроганьях обрушивающейся
воздушной горы —

III. ИМЕНА

Невозможно даже подумать
о грозных недрах неба
где вздымается сам Господь
милосердно незримый

неужели
это мы под пленкой солнца и облаков
неужели
ещё не проснулись для подлинной жизни
неужели
могу касаться пальцев твоих и волос
ничего не зная о мире себе тебе
об огромной грузной скрижали
где два имени врезаны рядом
глубоко и спокойно
имя твоё и моё —

IV. ЗАЛИВ

Когда позабытый отзвук бессилья
в тебе шевельнётся
не бойся ибо мы вместе
назови по имени страх
и он уже приручен
отползает куда-то прочь
где ему суждено раствориться

Не бойся но просто взгляни вовнутрь
и скажи
это страх наклонной земли
не встречающей вод
это мука громадной воды
разлученной с небом
и ослепшее небо бредёт наугад
сотрясаясь
вперехлест корёжась внутри самого себя

А утром залив
нежит птиц и ошметки тины
и прозрачный взгляд
уютно улегшийся вдоль —

V. КОЛОКОЛ

Стояли дни такие
стояли дни такие
в груди светлело медленно
далеким медным лепетом
сидела шаль накинув
не жажда летаргии
а жажда с летаргией

и вместе с этой жаждою
вплывать во тьму протяжную
благую и глубокую
вокруг себя и около

и по наитию встретиться
и отзываться вровень
летучим сгустком трепета
угрюмым плеском крови

тесней вожмёмся в дрёму
сплетем дыханье в кокон
а небеса огромны
и колокол за окнами

И колокол за окнами —

VI. ТЬМА

Крылья тьмы светлее любого света
кровеносной тьмы проросшей в изнанку глаз
это взгляд без взгляда вселившийся в осязание
и уже только небо пронзённое новым небом
где просторы мрака прозрачны во все концы
слепота первозданная
яростный обморок плоти
накануне рождения в лучах ослепительной тьмы
это мы это мы это мы
плутаем в корнях
в родниковой влаге
в песке и травах
вот уже задохнулось время

Но тьма обнимает камни с той же мощью
как бушует семя в потрясенных извивах тел —

VII. ДЮНЫ

Я не сумел в протяжной ласке
пересказать всего что будет
За шепотом сквозило море
слоилось падало в ладони
ликуя тягой мышц и вдоха
Летали стебли
И это стало нашим домом
И это стало нашим белым
— единственным —
над запоздалой болью
ветвясь торжественным прикосновеньем —

VIII. СТЕКЛО

Я спал и не слышал как время стекало назад
стремительный воздух свистел и твердел на глазах
и он превращался меж нами в тугое стекло
но ангел касался престола и время цело
вращаясь чайниками тягой навстречу насквозь
над толщей пространства где быть и не быть довелось
уже не телами а отблеском шёпота вспять
и влажно смыкаться блаженно и горестно спать
впадая в летучие звезды по плавной кривой
и ангел смеётся уткнувшись в стекло головой —

ВСЕ ИМЕНА

двадцать имен в одном и одно в двадцати
как эскимосы знают двадцать названий снега
так и я в тебе как в снегу
в снеге в снегу в снеге в снегу в снеге
слово больше чем слово
имя больше чем имя
ты это больше
чем все имена любви
снега любви снега любви снега —

ПОПЫТКА

Шторм налегает косматым брюхом
на остатки листьев рифленую плоскость песка
Пространство выстлано холодом
будто наждачным пухом

В кусках
рваного воздуха брезжат новые связи
измерений куда не войти умом
Свободное месиво Оторопь хаоса
Шторм
нарастает словно стремление сдвинуть
высоту ширину длину
Босой ребенок месящий глину
не так наивен или покинут
Серый растрёпанный кнут
ползет по щеке земли медленно словно нежность
черна его сердцевина или светла
не разглядеть отсюда это неважно Внешне
это простор измучившийся дотла
в попытке слиться неведомо с чем но слиться
стать продолженьем большего нежели сам
где растворены слова имена и лица
туда нельзя умереть оттуда нельзя родиться
Шторм вздымается к небесам
вертикально
подобно жажде пустого блага
пробует пропитать собой окоём
бессмысленный как скомканная бумага
уже обглоданная огнём.

...О РОЗЕ

роза бесчинствует роза
изнемогает
жаром вгрызаясь в тесный
комнатный воздух
уснёшь ли проснёшься
роза едина
к концу недели
нет её
но над вазой клубится
воспоминанье о розе —

* * *

словно луна
что светом тончайшим движенья обводит
тихо
струенье локтей и коленей
дыхание света
и это
прикосновение зрения
или
прозрение касания
да
словно луна
убывая и вновь прибывая —

* * *

Так спят цветы
и гаснет дождь в сутулых травах
— ты
плывешь на расстояньи вдоха
облаком подставленным луне.

КОГДА УЛЕТАЮТ

такой протяжный воздух
шершавый и лохматый

распахнутые крылья
просвечивают сквозь ветви

озеро удивилось
а дерево стало зверем

и странно тебя касаться
под чёрным тёплым небом —

КАК ТИХО

пуховый обморок и вкрадчивый ожог
сквозь тучи рыхлые процеженный снежок

и хлопья лёгкие губами теребя
как тихо Господи мы падаем в Тебя —

СОЧЕЛЬНИК

отсюда ближе небо
отсюда ближе к Богу
на ребристой глине
чуть припорошенной снегом
здесь умирать
яблочный воздух кусая —

ПСАЛОМ РАЗЛУКИ

К чему всё это — знаешь только Ты.
Наверное, я просто потерялся,
не знаю, Господи. Я плачу о любви
на кромке суши, сдавленной пространством
до хруста в недрах каменной плиты.

Подай хотя бы крошечную весть —
падение листика, явление улитки.
Я бормочу: насущный даждь нам днесь,
я бормочу: насущный даждь нам днесь,
я бормочу: насущный даждь нам днесь, —
изголодавшись по твоей улыбке.

В торосах тьмы, просверленных звездой,
или в траве под вишней молодой
Тебя искать наивно и напрасно.
Пред космосом, как в яме ледяной,
я вспыхнул раз в столетие — и гасну.

Ты шелестишь безоблачной водой,
летишь прозрачной мышцей голубой...
Помилуй, Боже. Плоть моя ослепла,
и, как скала из вопля или пепла,
на миг я вырастаю пред Тобой.

За толщей световых протяжных лет,
в каком-нибудь созвездье Змееносца,
зажавши рот, присев на табурет,
о Господи, Ты надо мной смеешься!

Не прячься, Господи, подай мне знак.
Не в пламени и славе — просто так,
прошу, с усмешкой помаши ладошкой,
месившей первозданный дикий мрак,
играющей с бомбошкой или кошкой
в бесчисленных сияющих мирах.

По сотворённой всемогущим словом
малюсенькой вселенной бестолково
катаются архангелы, трубя,
на ярких и больших велосипедах,
и я её кручу вокруг себя,
и нет исхода с карусели бреда,
и всё в тебе. И нет нигде Тебя.

БАЛЛАДА О ВОДЕ

Родник в расселине глухой
неколебимо спит.

Вокруг шиповник и самшит,
а дальше зыбкий зной,
и горный кряж внизу расшит,
под мешаниной глыб и плит,
дубравой кружевной.

Сочились капли в недрах скал
до чаши родника.

Он тихо и прилежно ждал
в тисках известняка,
пока опустится рука
сквозь трепет бликов и зеркал
за холодом глотка.

Нет ни тропинки, ни следа.

Лежит могучая вода
в блаженной тишине.

И не придет никто сюда,
где дремлют влажные года,
где растворяются беда,
и страх, и горечь, и нужда
с водой наедине.

В ущельях бродят егеря,
то непогода, то заря,
то ястреб выше круч.

Но кто сказал, что всё зазря,
соврал, по чести говоря.

Напорист и колюч,
томится ветер меж ветвей
и бестолковицей своей
над горсткой влаги меж камней
колеблет узкий луч.

* * *

Пусть мёртвые хоронят мёртвых —
красивых, нежных, распростёртых,
которым лень дойти до ванной
из темноты обетованной.

Намного проще тем, кто умер,
преобразился в прах и камень,
им вечность кажется безумней,
чем расстояние меж нами.

Уже смеемся над печалью,
уже себя забыло тело.
И мёртвым сразу полегчало,
а нам с тобой какое дело.

В канаву брошена корона.
Колокола картавят гулко.
Пусть мёртвые себя хоронят.
У мира много закоулков.

На мёртвых тяжесть неземная.
А мы попробуем иначе,
вдали, поврозь, не понимая,
зачем и кто поныне плачет.

РУКА

Мы с тобой умели не хуже всех
перемешивать вздор, болтовню и смех,
одеяло в ногах вертеть,
стасовать горячий намокший мех
и прикуривать в темноте.

А теперь светло, и уже не те
развели горделивую канитель,
поделили пыльный уют,
чашки-плошки с ложками да постель.
Ну и все в округе, кому не лень,
наши новости вслух жуют.

Невдомек никому, что в ночном доме
ворожит жемчужная мгла,
на столе ничей переплеск свечей,
и в лучистую кутерьму
наплывают перистые зеркала,
отзываясь на взмах крыла.

Босоногий младенец к щеке приник,
несравненной рукой храним,
из очей сияющий плач и крик,
прожигает свет,
им пощады нет,
перевитым любовью двоим.

И поверх лампы глядит старик,
а над ним вздымается нимб.

Жить не вышло, да помирать грешно,
так уж выпало на веку.
Не судьба мне, знать, а другую взять
негде круглому дураку.
На колени бы встал, но ведь им смешно,
и младенцу, и старику.

Только та рука, что всегда тепла,
малыша своего берегла,
небеса обвила, как лоза крепка,
и не брезгует ничьего виска,
и в любой черноте светла.

* * *

Под навесом Павелецкого вокзала
ночью бродит старикан глухонемой.
А в кармане у него клочок газеты,
где записано название деревни,
только денег не хватает на билет.
У него шинель запачкана мазутом,
у него бренчит в авоське стеклотара,
он трясёт плешивой сивой головой.

На банановых картонках спят цыганки.
Скоро утро, а покуда мелкий дождик.
Возле покерных игральных автоматов
полусонная дежурная сидит.

Десять лет тому назад, и тоже в мае
всё бродил по коридору психбольницы
старикан с понурой сивой головой,
точно так же, со слезами по щекам.
И теперь уже никак не разобраться,
почему они похожи меж собою,
то ли сам он ковыляет под навесом,
то ли брат его, а может быть, двойник.

Ну зачем тебе, куда тебе уехать,
мой товарищ по безумию бездомный,
среди этой сумасшедшей зябкой ночи,
посреди уснувшей призрачной Москвы,
на вращающемся полудиком шаре,
на его дождливой тёмной половинке,
погрузившейся неведомо куда.

Потерпи еще немного, мы уедем.
Ты не плачь, мы обязательно уедем.
А уехав и очнувшись, улыбнемся
и помашем на прощание рукою
нашим братьям, нашим прочим двойникам.

* * *

Неуклюжее время, как сдутый мяч,
между коек ползало враскорячь.
Безучастно клацал торцовый ключ.
Балагурил рыжий пузатый врач.

Дух карболки и каши, густой как ложь,
навсегда с изнанки прилип к ноздрям.
Где б ты ни был, принюхайся и поймёшь,
ты на самом деле остался там.

Там наждачным храпом усыпан пол,
квёлый лепет страшен, как лик Творца,
и когтями рвет галоперидол
наизнанку выкрученные сердца.

Этот морок всажен в тебя, как нож.
Этот бред не вытравить нипочём,
если только в памяти не найдёшь
заповедный, въедливый пустячок —

как под небом, выцветшим от весны,
замарашка-пигалица брела
на свободе, на воле, с той стороны
мутной толщи незыблемого стекла.

В ПАРКЕ

Мы говорим, а надо ли, постой,
мы говорим, но разве дело в том,
блестит листва над нашей немотой,
и птица гладит воздух животом.

Мы просто не умеем, как они,
роняем пустяковые слова,
и птица поднимается в зенит,
и воздух ослепительно звенит,
и светом отзывается листва.

Мы говорим на разные лады
о том, чего мы все не смогли,
и ширятся воздушные следы,
и рушатся обломками вдали.

ПСАЛОМ

Я забывал Тебя, я падал
в разъединении с Тобой
прениже взвихренного ада,
где отречение и прохлада
пустой дремоты голубой,

где ничего уже не надо,
где страшная Твоя рука,
недосягаемо легка,
манила все-таки обратно
из круговерти необъятной,
смешавшей звезды и века.

Ты снова держишь в этой плоти,
Ты длишь прогорклое житьё.
Но, Боже, мы с Тобой в расчете
за сумасшествие Твоё.

* * *

Я говорил с чужими о чужом,
обида и досада не тая,
как будто в жизни, вспоротой ножом,
барахтался, нащупывал края,

и был напрасен шепот или крик,
и неродная речь гортань прожгла,
а жижа подступала под кадык,
а вдалеке сияли купола.

* * *

Если ещё не чужой тебе
если могу выбирать судьбу
дай затеряться в твоей тайге
словно в пушистом густом гробу —

Ты не заметишь как я войду
с вырванной речью в пустой руке
чем головешкой в чужом аду
проще песчинкой в родном песке —

Был и остался никто ничей
шарил и падал и брел во мгле
дай безымянному как ручей
лечь и растаять в твоей земле —

НОСТАЛЬГИЯ

Я не смогу своей стране
теперь присниться,
затерян в рыжей тишине
пустой столицы.

Зато мне снится наяву
страна чужая,
я падаю в её траву
и уезжаю,

пересекая львиный ров
и рай сосновый,
меняя лучший из миров
на тихий новый.

Страну меняю на страну,
поддавшись бреду.
На самом деле ни в одну
я не уеду.

МОЛИТВА

Не отрекаюсь перед судьбой развёрстой
ни от чего: злобы, стыда, любви,
ни от клятвы, взломанной и двуострой.
Двоих обессилевших, Господи, благослови.

Властелин мошкары и хозяин тьмы горбатой,
благослови уходящую в те края,
где одиночества больше, чем на Арбате,
где жути гуще, чем в полночь на Кок-Кая.

Ты для неё неотличим от Бога,
и змеится по вздыбленным ночам,
выслана страхом, все ближе и дальше, дорога,
уже неизвестно чья.

* * *

Когда с жестокой высоты
ко мне опять приходишь ты,
мы заново неразличимы
из дикой бездны вдалеке,
всего лишь сгустки теплой глины,
рука растаяла в руке,
и облака проходят мимо
и отражаются в реке.

КОНДАК

Странен и пришелец на земли сей,
за себя не смеющий молиться,
только лишь тоскующий по дому,
где всё так же, только по-другому,
и откуда нам сияют лица
беспощадной нежности к живому.

ПСАЛОМ

Когда Ты приютишь меня в аду,
а я туда безропотно сойду
барахтаться на огненном крюке
и скорчившись лизать сковороду,
позволь крестильный крест зажать в руке.

Тебе дано решать, зачем добро.
Лишь Ты способен знать, откуда зло.
А мне висеть, поддетым за ребро
над вечно пузырящейся смолой
и думать, до чего ж не повезло
Тебе, и как, наверно, тяжело
повсюду быть всеведущей дырой.

Не в силах докричаться до Тебя
обугленным и косным языком,
я повторяю: есть воля и судьба,
Ты сам воздвиг немыслимый закон,
и доля сына лучше, чем раба.

ОДА

Парк замирает когда ты идёшь по дорожке
вслед за тобой кувыркаются кошки пичужки рыбёшки

обочь бегут ребятишки поддергивая штанишки
вытянув шеи сопя и толкаясь вприпрыжку

сыплются с неба конфеты и ленты под аплодисменты
а впереди выступают герольды в плащах с позументом.

Так ты идёшь под кисейным сачком небосвода
где-то вдали высоко посреди несуразной свободы

равно любимая всеми ничейная гостья прохлады
облачко тихих раздумий
 дитя во главе шутовского парада

не замечая вокруг ничего ты бредешь по дорожке
страшно к тебе потянуться
 но взгляд оторвать невозможно.

* * *

Негаданное навсегда
но неужели сад качели
отсюда хлынут сквозь года
в черемухе и чистотеле
смешные птицы пролетели
меж рёбер талых а куда
они задуматься не смели — —

* * *

Только лёд любовь моя только лёд
ты права и светла почему скажи
меж набрякших мышц он скрипит поёт
перепуганной крысой снует вдоль жил

а когда нас накроет он с головой
словно скатерть в сосульках бахромы
и в гортань как шпагу задвинет вой
я спрошу любовь моя сам не свой
да неужто лёд и взаправду мы.

* * *

Два рафинадных больших теплохода
сияют на том берегу.

До них мне доплыть неохота,
тем более, я не смогу.

Наверно, чего-то мы все не смогли.

Хорошая, впрочем, погода,
и ярко торчат на причале вдали
красивые два теплохода.

КОНДАК

Со дна душистого канавы,
где тишиной пропахли травы,
подняться, как всегда, замешкав,
с шершавым стеблем на губе,
благодарю, о Боже правый,
что Ты — великая насмешка,
и мы вповалку, вперемешку,
гурьбой покоимся в Тебе.

А Ты пригрезился колоссом
в блистающей сквозной порфире,
безмерно милостив и свят,
не погнушавшийся отбросом
в Твоем огромном странном мире,
где прочие едят и спят.

ДЕРЕВЯННЫЙ ЧЕЛОВЕК

На дворе картонный век,
голубой крахмальный снег.
Облака тихонько тают,
а по снегу ковыляет
деревянный человек.

Несуразный, деревянный,
он шагает вразнобой,
от густого солнца пьяный,
сам беседует с собой,
с деревянною ногой,
с окаянною судьбой.

И поёт его сухая
деревянная душа.
Жизнь, какая-никакая,
всё же дивно хороша.

Только сердце не на месте,
неизвестно почему.
Было бы оно из жести —
легче стало бы ему.

ВДАЛЕКЕ

В тебе так тихо, что можно заблудиться. И долго покоряться толчкам ленивой жаркой крови.

А вынесет наружу — откинуться, вставая в простыню. Над твоим берегом старательная чайка чертит ломаные дуги. Она опустится, нацелится, иголочка циркуля. Проколет ласково ключицу, и разом вспыхнет круг, наконец-то. Рядом валуны, за дымчатым лесом пропасть, над мысом пророс маяк, а дальше, на лбу горизонта, пальцы твои лежат вразброс, и не беда, что потускнело с изнанки колечко.

* * *

Брат волк и ласточка сестра
зачем сердиться на людей
пусть их постылая игра
все несуразней и лютей

любовь остра как гвоздь креста
и длится мука на весу
покуда брат или сестра
зверьём скитаются в лесу

клубится жирный дым костра
и в ноздри бьет слащавый чад
брат волк и ласточка сестра
обескураженно молчат —

2014 ГОД

1.

Исхода нет и тяжело вдвойне
что слёзы кончились ещё на той войне

а братья заедают кровь землёй
дыша горелым жиром и золой

и в рукотворной череде ночей
уходят в смерть как вброд через ручей

но эхом раздвигается в окне
жасмина взрыв клубящийся во мне.

2.

Какая разница, чья волна,
и солнце пышное, и скала?
Какая разница, чья страна,
как леммингов стая, с ума сошла?

Страна родная — неважно, чья.
И кровь на бурьяне — всегда своя.

3.

Не верь, что кто-то без греха.
Не верь, что где-то ночь тиха.

Опять покоя нет убитым,
и снова богу не до сна,
и веет жутью первобытной
насквозь пробитая луна.

* * *

Я не знал, что бывает любовь такой,
что она черна, словно волчий вой,
что тебя любить, как из моря пить,
и неважно всё, что нельзя простить.

Ну так что ж, вот Бог, ну а вот порог.
Хоть глоток, хоть каплю на посошок.

* * *

Глубок и чёрен свод небесный,
созвездия мерцают скупю,
шагает странник бесполезный,
накрыт невыносимой бездной,
как вогнутой спокойной лупой.

Не зная сам, куда он выйдет
через холмы и буераки,
забвенье, голод и обиды,
он думает, его не видят,
его забыли, всё в порядке.

Под холодом небесной плазмы
шагает путник одинокий,
всё меньше страха и соблазна,
всё шире боль, все ближе к Богу,
луна глядит железным глазом
на каменистую дорогу.

ПАСХА В ИУДЕЙСКОЙ ПУСТЫНЕ

Как бы настоем чабреца и мяты
в широкой чаше черного вина,
ветхозаветной дикостью косматой
приправлена густая тишина.

Её наплыв протяжней крестной муки.
С испода тьмы едва мерцают звуки,
пружинками зародышей, рядом,
забитые по шляпку молотком.

А в небо, неприкаянно пустое,
свисает мятым краем простыни
зазубренный истошный крик простора:
«Или, или, лама савахфани...»

Рассвет в пустыне вкрадчив и огромен.
Внезапно затихает звездный гомон,
и жарко проступают вдалеке
расплавленные горные отроги,
где камни разговаривают с Богом
на вязком и невнятном языке.

* * *

Можно слоняться, обкуривать улей
или нанизывать строчки в тетради
даже когда убивают в Кабуле,
даже когда убивают в Багдаде.

Кажется, разум и совесть уснули,
жили напрасно Хафиз и Саади,
если опять убивают в Кабуле,
если опять убивают в Багдаде.

Бойни повсюду, и не потому ли,
что толстосумы не будут внакладе,
если опять убивают в Кабуле,
в Косово, в Триполи или в Багдаде.

Свищут над миром проворные пули.
Кто-то в осаде, а кто-то в засаде.
Это меня застрелили в Кабуле.
Это меня застрелили в Багдаде.

Спелые яблоки ветви нагнули,
солнце пропитана гроздь винограда.
Это ведь мы убиваем в Кабуле,
это ведь мы убиваем в Багдаде.

Где бы ты ни был, в постели, в саду ли,
или в шеренге на пышном параде,
это тебя застрелили в Кабуле.
Это тебя застрелили в Багдаде.

* * *

Мне приснилось, что я совершенно другой.
Что я в отчем краю не чужак, не изгой.
Вдоволь хлеба, и света, и ласки. На сердце тепло,
словно бархатной смертью по горло меня замело.

* * *

Ярко сверкает чужая звезда.
Глухо лепечет река.
Зыблет и нежит чужая вода
черную стать сосняка.

Неосяземо вечер настал.
Над головой чужака
раннего месяца тонкая сталь
взрезывает облака.

Так, словно в небе, навеки чужом,
страшный себе самому,
бог полоумный кромсает ножом
неодолимую тьму.

* * *

Хлынули низко над крышей жемчужные тучи
Снег на чужбине широкий лохматый летучий
кружевом виснет роится в беспечном разбеге
Чудится что-то в привольном и ласковом снеге
Это не холод не голод не скука не злоба
что-то другое к чему не привыкнешь до гроба
Вроде бы всё как всегда Только выйдя из дому
замер невольно и что-то совсем по-другому

Сыплются крошки со скатерти-самобранки
Родина-сука лижет сердце с изнанки.

КРИК

Не молчи, молись,
чтоб ушла напасть —
нефтяная слизь,
золотая мразь.

Прокричи хоть раз
сквозь паскудный смрад,
что не страшен газ
и тюремный ад,

что холопской лжи
нету сил терпеть,
что постыла жизнь
и обрыдла смерть.

Ты в своей стране.
Ты и есть народ.
Кулака сильнее
твой разбитый рот.

И настанет миг,
и случится так,
что в ответ на крик
расточится мрак.

КРЫМСКАЯ НОЧЬ

Инаре

Давай пойдем гулять неторопливо
вдоль моря и шершавого обрыва,
рука в руке, куда глаза глядят.
Чернеют кипарисные оскалы,
лукавая волна щекочет скалы,
и вторит ей прилежный хор цикад.

Распахнуты небесные глубины.
У смерти вкус мороженой рябины.
Косит пугливо глазом голубиным
сквозь облака чеканная луна.
На острой кромке мира, на пределе
привычка жить ещё гнездится в теле,
опять неуголимо солона.

* * *

В ненастную ночь не спится,
тревогою грудь свело.
Отчаянная синица
колотится о стекло.

А это судьба такая,
что с птицами заодно
там сердце моё летает,
стучится в твоё окно.

К ТЕБЕ

Из напыщенного тлена,
из-за дверцы автозака,
из египетского плена
и расстрельного оврага,

через бездны небосвода
или через дебри ада,
даже если нет исхода,
нет надежды и возврата,

я вернусь к тебе рассветом,
я вернусь к тебе закатом,
и неважно, что об этом
не узнаешь никогда ты.

* * *

Роща — слева, поле — справа.
Между — топкая канава.
Режут пухлые бока
об осоку облака.

Колыхание и блики.
Зябкий шелест. пышный зной.
Запах шпал и земляники.
Одуванчик золотой.

* * *

Небо вздуто пузырем
над раскисшим пустырьём,
и не верится ни капли,
что когда-нибудь умрём.

Что когда-нибудь потом
нам придется обходиться
без небес и звонкой птицы,
вязкой глинистой кашицы,
ржавой рельсы под бугром.

И уже не повторится
ни метель, ни листопад,
рай крошечный, дивный ад,
как заломленной ресницей,
Божий мир щекочет взгляд.

Елена

повесть в стихотворениях

МОРЕ, СКАЛА

Отвесно трещины сбегают
к наклонной бахrome волны,
где неуклюжими стадами
пасутся в пене валуны.
Подкладка нежности простая
всего отчетливее тут.
Она из мрака прорастает
и догоняет на свету,
Она баюкает, возносит,
сшибает навзничь и ничком,
чтоб расцвести щекотной злостью,
уже не помня ни о чем.
Да, это просто: мы и нежность,
а всё, что кажется судьбой,
лежит в цепи каких-то прежних
обличий, слившихся с тобой.
Стоим среди лучей и ветра
в пространстве пышном, как венок,
и чаша голубого света
шумит, волнистая, у ног.

ЯБЛОКО

Бросай дары, как сеятель зерно.
Они к тебе вернутся всё равно.
Богат настолько, сколько раздаешь,
не принимайся за делёж.

Но золотое яблоко едино,
единственно, как боль и пустота,
и сквозь него мерцает сердцевина,
прохладным соком налита.

И тяжесть яблока — не просто тяжесть,
а муторная робость дележа.
Кому оно в ладони ляжет —
той силе будешь ты принадлежать.

Поскольку дар округл и неделим,
рукой, бестрепетно разжатой,
его отдай любви.
Лишь в ней одной — и мудрость, и держава.

ПАРИС

Я похитил тебя
у мужа, взглядов и солнца.
Я дворцовой завесой отсёк
Закон и ханжу.
Неизвестно, что станется,
почему не спится и стонется.
Чтобы легче стало,
всё-таки расскажу.
Я бесценный город
брошу в кровавую кашу
и впущу деревянного
стратегического коня,
а в столбах огня,
обнимающих Трою,
увидю лишь нежность нашу,
и будут искать,
дабы растерзать,
меня.
Если верить гаданью,
мне жизнь сохранит богиня.
Но на деле получится наоборот:
я клянусь тебе нами,
беспечными и нагими,
что умру на пылающей улице,
от удара данайским копьём
в живот.

КОРАБЛИ

Духота в опочивальне до заката.
От заката до рассвета — не до сна.
Со стены глядят дозорные солдаты.
Воспаленные глаза и — тишина.

Ложе пахнет, словно роза и осока.
Всюду шорох караульной тишины.
Ожидание, моление, тревога.
Корабли уже заметны со стены.

Городская духота и синий вечер.
Корабли идут на полных парусах.
Расцарапанные бронзовые плечи.
Алый ломтик возле правого соска.

НЕКТО ИЗ ХОРА

Когда на нет и нет суда,
скорей всего придешь сюда,
где за бугром безлистых куп
и ледянистых груд
лоснится, точно конский круп,
густой и тяжкий пруд.
Он чёрен, словно Ахерон,
он мокрым карканьем ворон
объят со всех сторон.
А ночь всплывает, как паром,
в пространство над прудом,
и на корме стоит Харон,
безгласен и угрюм,
и можно сердце сжать в щепоть,
себя перебороть,
отринув напрочь страх и плоть,
шагнуть в отверстый трюм,
с оболом, словно леденцом,
под сизым языком.
Не то, чтобы я был того...
Но было бы, из-за кого.
Кого — всё так же нет как нет,
на нет и нет суда,
и давит веки белый свет,
как черная вода.

ЕЛЕНА ВИДИТ БОЙ

На крепостной стене она стояла,
прямая, как данайское копьё,
закутанная в покрывало.
У горожанок духу не хватало
взглянуть хотя бы
в сторону её.

Она стояла горько и несмело,
так, словно, беззащитна и нага,
перед судом чужбины онемела.
Мужские взгляды падали, как стрелы,
к её ногам.

«Любовь подобна крошечной войне,
где тесно и кромешно,
и кажется, что хлещет кровь вовне —
так тяжело, так горячо, так грешно,
толчками сотрясая темноту.
Смятение и стон, зубовный скрежет...
Да, всё — как тут.

А если бы не горечь и стыдоба,
уже неизгладимые во мне,
была бы в точности любовь подобна
пьянящей, крошечной войне».

Так думала Елена на стене.

ЕЩЕ ОДИН ИЗ ХОРА

Росту обыкновенного. Походка девичья.
Что ж за баба такая у нашего царевича?
Раза два её видел, хотя в покрывале.
Многие видели — черта с два разобрали.

На рынке нету жратвы, одни пересуды.
Клялся слуга, что видел её в купальне,
дескать, она позолоченная вот отсюда досюда.
Врёт или нет — но после его не видали.

Всё же из дальней страны, да еще царица.
Хоть бы одим глазком подсмотреть, убедиться,
что у неё за груди и что за ляжки,
так ли у ней, как у моей милашки.

ПАРИС МОЛИТСЯ

Любимая, всё безнадежно:
выпростать руку,
 стакан поднести, пошарив.
Страх остается страхом.
 Меч остается мечом и в ножнах.
Можно пытаться пить.
 А можно жажду терпеть.
 Боги за нас решают.
Бросить стакан. Допить стакан.
 Всё безнадежно.

Покамест мы счастливы. То есть —
 счастливыми быть мы смеем.
Но затаенную жуть
 выдает наощупь
 подушка твоя сырая.
Война у наших ворот,
 как Геллеспонт, разъярённый Бореем;
катится вал за валом,
 и не видать им конца и края.

Любимая,
 верю в тебя, как в то, что
 тебя отнимут,
верю, как в то, что люблю,
и то, что нас двое.
Нам ни к чему
 золоченые боги
 и мраморные богини.
Им не до нас:

они ссорятся из-за Трои.

Я молюсь об одном,
и одной лишь тебе,
и да
сотворится по молитве, моей и нашей:
пусть нас оставят одних
на пустынном хребте Ида,
а сами шумят
и воюют вдали,
словно морские барашки.

ПРОСЬБА ЕЛЕНЫ

Я хочу от тебя зачать.
Родить, кормить, в колыбели качать.
И по дворцу носить, голубя, любя,
крохотного тебя, рождённого от тебя.

Я хочу во чреве своём иметь
от первого и последнего моего,
нежного, словно шёлк,
 твёрдого, словно медь,
больше не будет,
 клянусь,
 и не было никого.

И тогда не ходить я буду — плыть,
тяжелея всем телом, от бёдер к вискам,
нести себя
 по узорам дворцовых плит,
как шаровидный стакан,
 боясь расплескать.

Если же, по воле глухой судьбы,
я окажусь бесплодна, как сушь и гнев,
себе возьми десяток нежных рабынь —
пусть они родят на колени мне.

ХОР

Мы опускаем перед тобой глаза.

Иначе нельзя.

Иначе в глазах у идущих на смертный бой
ты прочитаешь то, что случится с тобой,
то, что знаешь сама, таишь от себя,
и это уже давно решено судьбой,
а ты никак не поверишь, что это — судьба.

Мы это знаем, как будто уже сбылось:

из глубины горящих царских покоев,
намотав на кулак драгоценную прядь волос,
тебя волочит на двор гогочущий воин.

Успех войны довершается в закоулке.

У мужчин в простых доспехах — простой обычай.

Двое держат ноги, а двое руки.

Все пятеро вправе пользоваться добычей.

И пока ты в пурпуре и виссоне,

и пока мы гибнем или сдыхаем,

помни об этом каждой ночью бессонной.

Помни. И жди. И знай, кто ты есть такая.

Примечание Архимеда, 212 г. до н.э.

Мы чертим круги,
 не зная их площадь,
во всяком случае,
 не зная точно.
Меряя их
 в квадратах или точках,
мы неизбежно допустим оплошность.

Если берутся два любых
круга, они измеримы кругами,
аналогично и в любви:
здесь отсутствует другая
соизмеримая величина.
Исходя из того, что любовь нетленна,
я задумал построить лемму.
Вот она.

Любовь — геометрическое место
того, что известно и неизвестно.
Причем неизвестное знают наперед,
настолько объемлющ круговорот.

Любящие — это два равных круга,
частично входящие друг в друга.
Но существует и множество других.

...Пожалуйста, не топчи мои круги!

Примечание автора

Сотню лет назад, у синя моря
рылся педантичный археолог,
расчищая многослойный город,
словно пыльный пласт архивных полок.

Пепелище из седьмого слоя —
может, и на самом деле — Троя?

Видишь, если в древность углубиться,
между войн — затишья, зиянья,
не за что цепляться летописцу.
Нет багровой пищи для познания.

В этом мире, зыбком и мгновенном,
состоящем из одних пробелов,
может быть, тебя зовут Еленой,
но тебя назвали по-другому,
и, целуя царственное тело,
знаю, что достанешься другому.

Но во временном круговороте
мы когда-нибудь столкнемся снова,
как случилось за двенадцать сотен
лет и зим до рождества Христова.

Столько дней гурьбою пробежало,
что располагает наша эра
только доказательством пожара,
да ещё свидетельством Гомера.

* * *

Юрию Касяничу

По ту сторону боли
душа не знает предела.
Простор света и воли
по ту сторону тела.

По ту сторону страха
легко остаться счастливым.
Пускай облачко праха
порхнёт ввысь над заливом.

Пускай радостью брызнет
моя последняя чаша.
По ту сторону жизни
не так больно и страшно.

НА МОТИВ ПСАЛМА

Бездна бездну напрасно зовёт, и над ней
безответно ревет водопад.
Я оставлен Тобой. Я один и на дне.
Чередой порожних бессмысленных дней
надо мной Твои воды шумят.

Налегает на темя чугунный поток.
Нету хода наверх и назад.
Ни укутаться в сон, ни очнуться нельзя.
Кислорода квадратный от спазмы глоток.
Задубевший от алой мокроты платок.
Пересохшей гортани надрыв.

Так спасибо, мой Боже, которого нет,
за гибель и холод, за кривду и бред,
пустоту, темноту, немоту.
Всё равно я Тебя напоследок сплету
из чернильных оков для неслыханных слов,
рассыпающихся на лету.

Оперённая речь упорхнет в никуда,
и сверкнут суета, маета и беда
мотыльковой чешуйкой звезды
сквозь кривую судьбу, из-под снулой воды
и шершавого черного льда.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| Утренние строфы кайнозойской эры ————— | 4 |
| Трактаты | |
| 1. Дебил ————— | 6 |
| 2. Дождь ————— | 8 |
| 3. Несущий зеркало ————— | 11 |
| 4. Любительница кактусов ————— | 13 |
| 5. Зажёгший спичку ————— | 15 |
| Троица ————— | 17 |
| Миф о Судомойке ————— | 20 |
| Чертёж ————— | 23 |
| Родившийся дважды ————— | 25 |
| Рейс Москва-Ларнака ————— | 27 |
| Пророк ————— | 28 |
| «Однажды и я очутился в бору...» ————— | 29 |
| Послание к председателю пира ————— | 30 |
| Послание к своему веку ————— | 32 |
| Очи ————— | 34 |
| Баллада гаража ————— | 35 |
| Волхвы ————— | 38 |
| Голгофа ————— | 39 |
| Вознесение ————— | 40 |
| Ночной снегопад ————— | 41 |
| Пельменная ————— | 43 |
| Элегии о человеке | |
| Элегия I. Человек, проснувшийся ночью ————— | 49 |
| Элегия II. Человек, закусивший сердце ————— | 51 |
| Элегия III. Человек, уснувший над ————— | 52 |
| Элегия IV. Человек, запродавший тело ————— | 53 |
| Элегия V. Человек, раскопавший Трою ————— | 54 |
| «Зацветает черёмуха...» ————— | 60 |
| «Ивы медлят желтеть, осыпаться...» ————— | 61 |
| Деревья ————— | 62 |
| Метаморфозы ————— | 63 |

| | |
|--|----|
| Стоунхендж ————— | 65 |
| Пейзаж с рыболовом ————— | 66 |
| Взгляд ————— | 67 |
| Спичка ————— | 68 |
| «Некому звякнуть за дверью ключами...» ————— | 69 |
| «Неважно, в какой стороне...» ————— | 70 |
| «Мне от вас ничего не надо...» ————— | 71 |
| «В ликовании и в печали...» ————— | 72 |
| Портрет в провинциальной аллее ————— | 73 |
| Псалом 8 ————— | 74 |
| Псалом 37 ————— | 75 |
| Псалом 6 ————— | 76 |
| Псалом 41 ————— | 77 |
| Псалом 76 ————— | 78 |
| На рассвете ————— | 79 |
| Творцу ————— | 80 |
| «Захлопнулся провал...» ————— | 81 |
| Псалом («Благодарю за слепоту...») ————— | 82 |
| «Играй на разные лады...» ————— | 83 |
| «По тропе, как орех, пустой...» ————— | 84 |
| «Теперь надоела окольная речь...» ————— | 85 |
| «Мы бродили по склону змеиной горы...» ————— | 86 |
| Прощай ————— | 87 |
| Песнь благодарности ————— | 88 |
| Песнь предчувствия ————— | 90 |
| Песнь торжества ————— | 92 |
| Странник ————— | 93 |
| «Я выйду навстречу — неважно...» ————— | 94 |
| Теперь ————— | 95 |
| Дитя света | |
| I. Башня ————— | 96 |
| II. Нежность ————— | 96 |
| III. Имена ————— | 96 |
| IV. Залив ————— | 97 |
| V. Колокол ————— | 98 |

| | |
|---|-----|
| VI. Тьма | 99 |
| VII. Дюны | 99 |
| VIII. Стекло | 100 |
| Все имена | 101 |
| Попытка | 102 |
| ...О розе | 103 |
| «словно луна...» | 104 |
| «Так спят цветы...» | 105 |
| Когда улетаю | 106 |
| Как тихо | 107 |
| Сочельник | 108 |
| Псалом разлуки | 109 |
| Баллада о воде | 111 |
| «Пусть мертвые хоронят мертвых...» | 113 |
| Рука | 114 |
| «Под навесом Павелецкого вокзала...» | 116 |
| «Неуклюжее время, как сдутый мяч...» | 118 |
| В парке | 119 |
| Псалом («Я забывал Тебя, я падал...») | 120 |
| «Я говорил с чужими о чужом...» | 121 |
| «Если еще не чужой тебе...» | 122 |
| Ностальгия | 123 |
| Молитва | 124 |
| «Когда с жестокой высоты...» | 125 |
| Кондак («Странен и пришелец на земли сей...») | 126 |
| Псалом («Когда Ты приютишь меня в аду...») | 127 |
| Ода | 128 |
| «Негаданное навсегда...» | 129 |
| «Только лед любовь моя только лед...» | 130 |
| «Два рафинадных больших теплохода...» | 131 |
| Кондак («Со дна душистого канавы...») | 132 |
| Деревянный человек | 133 |
| Вдалеке | 134 |
| «Брат волк и ласточка сестра...» | 135 |
| 2014 год | 136 |

| | |
|--|-----|
| «Я не знал, что бывает любовь такой...» ————— | 137 |
| «Глубок и чёрен свод небесный...» ————— | 138 |
| Пасха в иудейской пустыне ————— | 139 |
| «Можно слоняться, обкуривать улей...» ————— | 140 |
| «Мне приснилось, что я совершенно другой...» ————— | 141 |
| «Ярко сверкает чужая звезда...» ————— | 142 |
| «Хлынули низко над крышей жемчужные тучи...» ——— | 143 |
| Крик ————— | 144 |
| Крымская ночь ————— | 145 |
| «В ненастную ночь не спится...» ————— | 146 |
| К тебе ————— | 147 |
| «Роща — слева, поле — справа...» ————— | 148 |
| «Небо вздуто пузырярем...» ————— | 149 |
| Елена | |
| Море, скала ————— | 150 |
| Яблоко ————— | 151 |
| Парис ————— | 152 |
| Корабли ————— | 153 |
| Некто из хора ————— | 154 |
| Елена видит бой ————— | 155 |
| Еще один из хора ————— | 156 |
| Парис молится ————— | 157 |
| Просьба Елены ————— | 159 |
| Хор ————— | 160 |
| Примечание Архимеда, 212 г. до н.э. ————— | 161 |
| Примечание автора ————— | 162 |
| «По ту сторону боли...» ————— | 163 |
| На мотив псалма ————— | 164 |